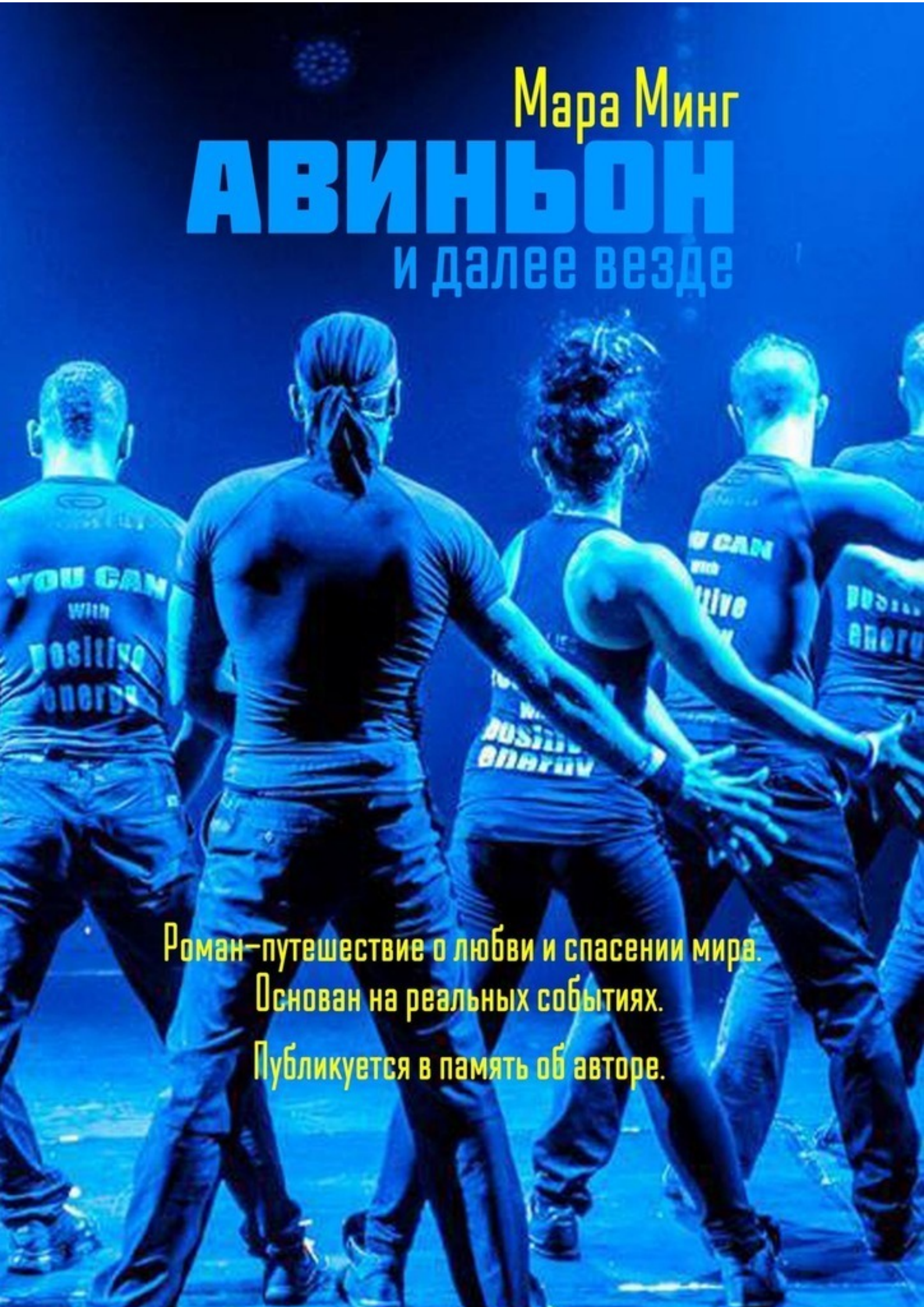
Мара Минг

АВИНЬОН

и далее везде



Роман-путешествие о любви и спасении мира.
Основан на реальных событиях.

Публикуется в память об авторе.

Мара Минг

Авиньон и далее везде. Роман-путешествие о любви и спасении мира. Основан на реальных событиях. Публикуется в память об авторе

«Издательские решения»

Минг М.

Авиньон и далее везде. Роман-путешествие о любви и спасении мира. Основан на реальных событиях. Публикуется в память об авторе / М. Минг — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-502051-2

Это роман-путешествие, роман-дневник, протянувшийся от французского Авиньона до сибирской глубинки: он о большой любви и большом труде, об авантюрах, об уличных артистах. О миссии по спасению мира. О революции. О судьбоносной встрече артиста, преодолевшего путь от беспризорника и гангстера до звезды шоу-бизнеса, и писательницы, которая не смогла пройти мимо его истории, а в результате написала свою.Прежде всего это роман о вере.История реальна.

ISBN 978-5-00-502051-2

© Минг М.

© Издательские решения

Содержание

От издателя 6
Россия. 7
Франция. 8
I 8
II 56
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Авиньон и далее везде Роман-путешествие о любви и спасении мира. Основан на реальных событиях. Публикуется в память об авторе

Мара Минг

© Мара Минг, 2019

ISBN 978-5-0050-2051-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От издателя

Я публикую этот роман в память о близком человеке, которого больше нет. При жизни автор книги не хотел издавать свой текст, считая его слишком личным и неидеальным. Но сейчас, я считаю, он должен выйти в мир; это единственное, что я еще могу я сделать для тебя – и, возможно, для героев твоей книги.

Все события, описанные в книге, реальны.

Это было круто, малышка. Мне часто тебя не хватает.

С любовью,
Марса Эшер

•

Была

седьмой водой
лихой бедой
отшельницей
сотрудницей
любовницей
наложницей
владелицей
начальницей
прислужницей
труженицей
умницей
и ничтожеством
а иногда пустым множеством.

Была и погулять вышла.

Россия.
Листвянка

А, может быть, начать с конца?

С этого самого момента, где мы сидим с Паскалем, так опрометчиво решившим меня спасти – правим вот уже какой день мой колченогий французский текст. С сибирской зимы, с чая «саган дайля». С наших перебранок над переводом.

Зациклить этот текст – и тогда он закончится? Замкнется в кольцо, как змея, кусающая себя за хвост, а я, наконец, смогу улизнуть?

Детская хитрость. Интересно, кого я хочу обмануть.

Нет.

Начну с того, с чего и начинала полтора года назад.

– Мисс! Авиньон! Вы приехали! Мисс!

Франция.
Авиньон

I

В ночном автобусе «Евролайнс Милан-Марсель» – шумном, слишком зябком из-за свирепого кондиционера – я намаялась от души. Всю ночь я крутилась с боку на бок в неудобном кресле: то мне что-то давило в спину, то хотелось пить, то было холодно, то зачем-то становилось жарко. Когда за окнами просветлело, я надвинула на глаза дорожную маску и вдруг неожиданно отключилась: провалилась в сон как в колодец. Автобус мотало на поворотах, кто-то пересаживался и выходил, а мне все было нипочем. В этом сонном оцепенении я бы, пожалуй, доехала и до Марселя, как вдруг:

– Мисс! Авиньон! Вы приехали! Мисс!

Похватав сумки, я рванула к выходу («*Стоят из-за меня!*») и скатилась вниз по ступенькам. Автобус пыхнул жаром и уехал.

Меня чуть-чуть шатало, как бывает, если задремать под утро и очнуться через пару часов. Голова болела. Я поморгала, надела солнечные очки. Потом сняла, потерла веки. Постояла пару минут на остановке. Туман из сознания не уходил.

Если умыться – поможет?

Справа через дорогу и маленькую площадь виднелся железнодорожный вокзал: квадратное здание, украшенное пилястрами и вишенкой круглых часов. Я направилась туда. Людей в этот час было немного, гулкий и солнечный вокзал был почти пуст. Туалет оказался прямо на платформе, в самом дальнем ее конце. Там я умылась и вычистила зубы; туалетная девушка с сонной улыбкой протянула мне сдачу в 50 центов с евро и засмеялась, замахала рукой, когда я было направилась по ошибке в мужскую уборную.

Я выпила эспрессо в вокзальном маленьком баре, снова перешла через дорогу и оказалась перед крепостной стеной.

Ну надо же, вдруг удивилась я. Авиньон.

Шел восьмой час утра. Молочное еще солнце стекало по чешуе старого города. Когда не выспишься, видишь ярче: небо было таким празднично-синим, углы и линии – словно отчеркнуты острым карандашом. Вдоль крепостной стены росли одинаковые круглоголовые деревца. Тени от крон косо падали на стену, и я приостановилась: мне вдруг показалось, что крепость подпирают десятки ладоней.

Воткнув в уши наушники, я включила «Травиату». Я слушала ее, когда нужно было настроиться. Строго говоря, я вообще ее слушала без конца: ту запись 1967 года, где Виолетту поет Монсеррат, а Альфреда – Милнес. Остальные мне не нравились.

За стеной, надежной как проклятие, спрятался старый город: весь двух-, трехэтажный, припыленный; пыльный розовый, пыльный желтый, пыльный коричневый. Узкие окна. По стенам, точно слабый раствор чернил по промокашке, расплывалась черная плесень. Никто еще не проснулся: было тихо. Неподвижно стояла зеленая вода в маленьких каналах. На парапетах жались друг к другу голуби, а под ними, в воде, акварельными разводами отражались афиши. Афиши, афиши, десятки и сотни разноцветных афиш. Приклеенные к стенам, развешанные гармошками на веревках, как сохнущее белье. Плакатный тетрис. Джон писал, что у них сейчас какой-то праздник: городская ярмарка или фестиваль урожая. Или что он мне там писал?

Мог писать все что угодно; разве я когда-нибудь читала внимательно. Рисованную карту, что он прислал мне на почту – «меня легко найти от вокзала» – я тоже не сохранила. В памяти остался только адрес. Без карты в незнакомом городе неудобно, но я, охваченная приступом то ли вредности, то ли какой-то нелепой жадности (два евро! бешеные деньги), не купила ее и на вокзале. Теперь я шла наобум, и только чудом мне повезло: по наитию свернув вдруг на одном из перекрестков, я с разбегу налетела на стенд с планом города. Тот походил на большой мозг: искаженный овал, набухший справа. Слева сверху – река. По картинке выходило, что до Джона совсем недалеко: подать рукой.

Справа, на выходе из старого города, зеленел скверик. Слева, в густой тени деревьев, врастала в землю табачная лавка. Мне хотелось курить, но зайти внутрь я не решилась: казалось, что за окнами с затемнением притаилось что-то постыдное. Я твердым шагом прошла мимо.

Первое же здание через дорогу – длинное, выкрашенное в грязно-розовый – оказалось тем, что мне нужно. Авеню де ля Синагог, 5. Рядом с одним из окон на втором этаже маячил крест из алой изоленты, криво приклеенный на бетон. Я развеселилась: это была метка для меня.

– –

«Квартир в доме много, – писал Джон. – Но рядом с моим окном для тебя будет знак. И такой же возле звонка». Мизансцена в стиле Ромео и Джульетты, только в роли Ромео – я? Отлично! Этот опрокинутый сюжет показался мне таким абсурдным, что я развеселилась.

Все-таки, Джон – он такой один.

Позвонить пришлось дважды, но долго у двери я не ждала. Джон вынырнул из подъезда и запеленал меня в сонное, но крепкое объятье.

– Дрых, значит. – сказала я.

Джон был в черных штанах и шлепанцах на босу ногу. Похудел, похоже, а так все тот же: кинжал бы в зубы, и вперед, скачи по мачте. Я обрадовалась: поняла, что соскучилась.

В подъезде пахло побелкой («Дыра. – зевнул Джон. – Зато дешево»). На втором этаже в длинном коридоре дребезжал мутный желтоватый свет. Джон уверенно тащил меня за собой. Мы несколько раз свернули – я почти сразу запуталась в коридорной геометрии – и в результате оказались перед двумя дверьми-близнецами: хлипкими, картонными. Джон толкнул рукой левую, но свет включать не стал.

– Там Паоло, – услышала я его шепот. – Спит еще, устал. Да оба устали, у меня еще с ногой что-то. Хромаю уже неделю.

– В комнате висела влажная духота: густой июльский суп. Сквозь жалюзи сочилось солнце, мало-мало разбавляя мрак. В нем плыли очертания предметов: тумбочка, диван. Стол, заваленный чем-то. Под окном угадывался матрас; на нем кто-то лежал, закутавшись с головой. Я поинтересовалась:

– Тоже артист? – вполголоса уточнила я. Выяснилось: да, жонглер, старый друг. Нет, вместе не выступают; просто соседствуют в этом скворечнике.

– Ну, а ты?

Джон улыбнулся:

– День хуже, день лучше. Людей почти нет, еще не помню такого.

Я все пыталась разглядеть комнату. Даже не знаю, чего я ожидала от этого жилища: зная Джона, оно могло быть каким угодно. Он ведь и сам был такой: какой угодно. Уличный артист, режиссер, актер, политический активист, борец за возрождение французского патриотизма. Провокатор, великий и ужасный. Сто в одном.

Смешно. Так говорю, будто мы были знакомы сто лет.

На самом деле, мы познакомились недавно: месяца три, может, четыре тому назад. Правда, я лет шесть уже знала его жену: мы встретились, когда никакого Джона еще и в помине не было. Ее все звали Цап, она была русская – из тех непоседливых, энергичных бессребреников перекати-поле, которые колесят по миру, зарабатывая на жизнь каким-нибудь бродячим искусством. Цап зарабатывала тем, что учила жизни: у нее, в отличие от многих, все-таки были амбиции. Одно время мы потеряли друг друга из виду, но этой весной я вдруг вспомнила о ней, и оказалось, что она как раз едет в Москву проводить очередной из своих доморощенных тренингов (а с ней – ее новый французский муж). Всякие тренинги – а также встречи, семинары и просто тусовки – они организовывали без конца, причем в выборе тем были замечательно всеядны: от вегетарианства до стриптиза, от йоги до свободной любви. Я заглянула на огонек и познакомилась с Джоном. Вообще-то он был Жан, Жан-Мари даже. Но от Жана до Джона рукой подать.

– –

Джон, в каком-то смысле, оказался пирожком с начинкой из меня: нам всегда было, о чем поговорить. Путешествия, Индия, авантюры. Он, помню, все хвалил мой английский; что за беда, Маруся, говорил он, русские не хотят учить языки, то ли дело ты. Я смеялась, мол, брось, мой английский давно превратился в хинглиш: полухинди, полуинглиш. Лет пятнадцать назад я бы и по-французски с тобой поговорила, думала я. Но инструменты ржавеют, если ими не пользоваться. По-французски я уже не могла.

Как-то в разговоре я заикнулась, что летом хочу поехать в Италию – я собиралась на оперный фестиваль – и Джона мгновенно осенило.

– Слушай, – сказал он, – ты едешь в Италию – так заезжай и к нам? На недельку, заодно к твоим каникулам. А?

Гм, ответила я.

Все же так рядом, напомнил Джон. Ты через Милан? Ну вот же, всего ночь на поезде или автобусе. Я тебя познакомлю с отличными французскими ребятами.

Ну, даже не знаю, сказала я.

Они тебе покажут нормальную Францию, добавил Джон.

Настоящую французскую Францию. Простой и красивый план. А?

Да, в самом деле, почему нет, вдруг подумала я. Все же действительно рядом.

И согласилась.

С настоящей Францией кому было верить, как не Джону: он был одержим идеей национальной идентичности, а потому знал, как подать родную страну лицом. Его жизненная траектория выглядела довольно затейливо: начав как простой уличный артист, он неуклонно, словно трамвай по рельсам, двигался в направлении политической пропаганды. Он тоже имел амбиции. К моменту нашего знакомства Джон был убежденным антиглобалистом: за кооперацией французского правительства с американцами он видел циничный план лишить французов (да что там французов – всех жителей планеты) памяти, заставить их забыть о корнях. Но, черт побери, у французов были сыр, вино, Жанна д'Арк и бог знает что еще – и французы, по мнению Джона, не имели права об этом забывать. Они должны были гордиться! Слово «национализм» в устах Джона имело позитивную окраску: не ненависть к другим народам, а любовь к своей культуре. Пожалуй, соглашался он, его народу следовало поучиться чему-то у других (*например, у русских*, добавлял он обычно), но отказаться от своих уникальных черт, слиться с остальными, стать безликими *европейцами* – это был страшный финал, худший из возможных.

– Американкаши! – негодовал Джон, сверкая своими пиратскими глазами. – Это все их работа. Вся Европа на одно лицо! Кругом один макдак!

В этом между нами была разница: Джон был по уши в политике, а я в эти дела никогда не лезла. Во-первых, я не верила политикам, ни одному. Я была из тех, кого мои же друзья обзывали «пассивной серой массой»: не махала белыми ленточками, не ходила на митинги, не цитировала статьи известных оппозиционеров. Но это была не пассивность; это была моя принципиальная позиция, даже своего рода протест. Я была убеждена (почему – *была*?), что честных людей в политике нет. По крайней мере, у нас. Тогда какая разница, кто именно из них пытается подмять под себя остальных? Об этом мы как-то спорили: как сейчас помню, был вечер, Джон расхаживал по кухне в своем алом китайском халате с драконами и возмущался. Я ела пирожок.

– Ты что, не видишь, куда все катится? – в конце концов воскликнул он.

Я не видела; лично у меня никуда ничего не катилось. У меня вообще все было просто. Существовало единственное правило: наведи порядок в ближнем круге – в семье, в компании, на работе – научись попадать огрызком в урну, а не мимо (и этот-то навык у многих не отточен), а уж потом лезь на броневичок. Для себя я решила вопрос именно так. Я вообще не особенно стремилась спасать мир; меня беспокоило только то, что принадлежало мне лично и за что отвечала лично я. У Джона же все было глобально. Он посвящал политической борьбе львиную долю своего времени, хотя, в целом, держал себя в руках: не поджигал американские флаги, не громил магазины. Он считал, что успеха можно добиться только при помощи слов, объяснений, проще говоря, *просвещения масс* – и давал интервью, писал тексты, организовывал встречи для тех, кто соглашался на них прийти, чтобы без устали втолковывать людям, как обстоят дела на свете. Его уличные выступления были его агитплощадкой. Люди приходили поглазеть на шоу, а уносили с собой сообщение, которым Джон неизменно приправлял любой сценарий. Он называл себя «un patriote nomade»: бродячим патриотом.

– –

Глаза немного привыкли к темноте. Комнатка была совсем маленькой. Как же они здесь не сталкиваются лбами? Вот она, жизнь французского андеграунда. Ногой я пихнула рюкзак и сумку поближе к стене. В тот момент я так хотела впитывать, что была готова принять все, что угодно.

– Прости. – Джон зевнул в ладонь. – Я еще сплю. Мне бы минут двадцать, на душ и йогу. Ага?

Я втайне надеялась, что он предложит разойтись по углам и еще часа два поспать: для чего эта каморка годилась лучше всего, так это для сладкого сна лицом в подушку. Но не всем мечтам нашим предначертано сбыться; я свалилась на диван, забыв снять кеды, и уставилась в потолок. В ванной что-то грохнуло, потом зажужжало. Следом зашумела вода.

Мне тоже хотелось в душ – и отдохнуть, хотя бы подремать. Я тоже устала. По какому-то извечному закону жизни к началу длинного путешествия всегда, точно мухи, слетаются тучи накладок и неурядиц; в путь отправляешься, заранее обессилев. Двое суток назад я чудом вырвалась из паутины мелких проблем и, не переводя дыхания, улетела в Милан. В Милане жила Ира, старая знакомая и бывшая коллега по цеху. Одно время мы плечом к плечу вспахивали одну и ту же ниву: она руководила маленьким и бойким девичьим журналом, а я была штатным редактором женского, большого. Потом Ира переучилась на океанолога и некоторое время занималась волонтерством: мешками таскала из океана мусор, спасала морских животных в зоне экологических катастроф. Но на жизнь этим не заработаешь; когда деньги кончились, Ира отправилась в Милан – ее, как человека из «глянца», позвали работать в модной индустрии – и обосновалась там.

«Переучилась, спасала, отправилась»: эдак через запятую, вприпрыжечку, да? Как будто все было так непринужденно, так легко. Вот и моя жизнь со стороны, наверное, выглядела

такой же лесенкой-песенкой. Хотя я ее воспринимала, скорее, как серпантин. Или как настольную игру-бродилку. Извилистый маршрут, пропуски ходов, призы, проигрыши. Что-то такое.

Было около двух часов ночи, когда таксист высадил меня у красивого, белокаменного дома на виа Савона. Высадил и уехал, а я осталась царапаться в ярко освещенный, но безнадежно герметичный подъезд-аквариум. Ирин номер телефона, как выяснилось впоследствии, был у меня записан с ошибкой, и дозвониться я не смогла. Так и не попав внутрь, я развернулась и прошагала с багажом два квартала – не особенно паникуя, впрочем – в поисках отеля, такси или кафе с интернетом. Не было ничего. Величавые здания с колоннами и арками тянулись вдоль спящих трамвайных путей. Абсолютно все было закрыто. За время пути мне встретились лишь две подвыпившие модели да татуированный бродяга, коротавший ночь на остановке (буонанотте, белла рагацца!), и я уже было начала отчаиваться, как вдруг на каком-то из перекрестков чудом поймала городской вай-фай. Ира мгновенно откликнулась в фейсбуке. Еще два квартала назад.

Встреча, разговоры до пяти утра и подъем в восемь. День в жарком имперском Милане. Крыша Дуомо, похожая на космический транзитный порт. Дети, облепившие глаз телескопа (всего один евро – и перед тобой, как на ладони, весь город; можно рассмотреть крыши, статуи, остроконечные башни). Витрины магазинов, которые, вытаращив глаза, наперебой тараторят: Salde! 20%! 70%! Суетливые японцы с планшетами («Вы не сфотографируете нас? Не будете ли так любезны?»). Усталость. Что я делала весь день, господи? Лазила по Дуомо как человек-паук – а еще?

Знойное плотное марево над городом. Трамвай, увозящий меня не в том направлении. Трамвай, застревающий на рельсах, сварливый, начиненный шумными итальянцами. Долгий путь обратно. Обед с Ирой в суши-забегаловке: стейк из лосося и глоток Амаро Монтенегро. Душ, который не спас. Такси до автовокзала, автобус «Евролайнс Милан-Марсель».

В ночных автобусах я протряслась не одну сотню километров, но те были, в основном, дикие, азиатские. На европейские возлагалось больше надежд: *скорость. безопасность. комфорт*. Но ночь по соседству с громкими итальянцами, не желавшими угомониться и примерно с часу до трех возбужденно и в деталях обсуждавших пиццу, пасту и моцареллу – до последней капельки оливкового масла, золотого, с привкусом лесного ореха и свежих фруктов, до последнего листика базилика (каким он был, фиолетовым или зеленоватым?) – эта ночь на время покончила с лучшим во мне.

Лежа на мягком диване в Джоновом логове, я уже жалела, что не заглянула в табачную лавочку у подножия старого города и не выкурила там же, под деревом, сигарету. В эти дни курение еще доставляло мне удовольствие. Собственно говоря, не только в эти: меня всю жизнь мотало из стороны в сторону (*ты – человек крайностей*, вздыхала Аселия). Временами я увлекалась йогой, здоровым питанием, духовными практиками, а в другие моменты беспутничала, пила как тот русский мужик и курила как паровоз. И то, и другое – с удовольствием и от души. И в том, и в другом, бывало, достигала выдающихся результатов.

Джон, тот жил иначе. Он был непреклонным адептом правильного питания, любителем йоги и фашистской физкультуры. Он постоянно ставил над собой какие-то эксперименты и жалости к себе не знал («он над собой издевается» – ругалась Цап). Джону было интересно: если тренироваться еще больше, если довести себя до полного изнеможения и продолжать – что будет? («Тебе это зачем?» – однажды спросила я. «Интересное состояние», – уклончиво ответил он). Иногда я думала, что, может, он хочет стать Бэтменом или кем-то в этом роде.

– –

Надо думать, я все же задремала: меня разбудил Джон, который, подбираясь к окну, сшиб по пути какой-то тяжелый предмет. Стоило поднять жалюзи, как в комнату, словно горничные,

спешащие прибрать следы ночного разгула, ринулись солнечные лучи. Картинка стала дневной: выцветшие обои, синий диван. Напротив окна – белый скелетик шкафа. Две тумбочки (на одной – учебник по русскому языку; браво, Джон!). Стол: листовки, афиши, отвертки, провода. Открытый ноутбук. Поверх экрана, наброшенные шторкой – черные мужские трусы.

На матрасе под окном заворочался Джонов сосед: дернул локтем, повернул темноволосую голову. Поморгал.

– Привет.

– Это Мара, моя подруга, она русская. – анонсировал меня Джон. – А это Паоло.

Паоло выпростал из-под подушки руку, потом, после короткой схватки с одеялом, вылез наружу целиком. Он был красавец: атлетичный, ладный, как парни из рекламы нижнего белья. Лицо надменное: идеальный профиль, горная красота. Немного перца, немного яда. Я решила для себя, что в нем испанская кровь. Или, нет, португальская; так интересней.

Под столом я заметила пятилитровую канистру с бензином. Чего только не увидишь в комнате, где живут два молодых уличных джокера. Может, подумала я, они все-таки жгут американские флаги?

Паоло задел меня скользящим поцелуем и направился в ванную, на ходу натягивая на ноги нелепые штаны: лосины в черно-белую вертикальную полоску.

– Завтракала? – спросил Джон, засунув голову в холодильник. Холодильничек. Я отмахнулась:

– Какой. Рановато.

По обеим сторонам от окна, словно иконы, висели два плаката. Первый приглашал на битву японских борцов: кусачие буквы, кричащие цвета – и две азиатские рожи (престрашные). Второй анонсировал Джонни в наиболее ядовитой его ипостаси: в роли порнографа Мастера Джона. Плакат был мне знаком: один из них, было дело, я как-то выпросила себе на память. На плакате Мастер Джон запечатлен по пояс: в черной сетчатой борцовке, будто бы сшитой из женского чулка, красной бандане и черных, наэлектризованных уличной магией боксерских шортах. Черные очки. Губы, сложенные в ухмылочку: такую сальную, что хочется то ли зажмуриться, то ли перекреститься. Залихватской щепотью Мастер Джон держит сигарку, то ли поднося ее к губам, то ли только что затянувшись. За резинку шортов заткнута сигаретная пачка. Вся поза героя выражает силу, безнаказанность и безоговорочное служение пороку. «Куда ты денешься с подводной лодки?», как бы говорит всякому встречному этот портрет. Этот персонаж всегда приводил меня в детский восторг; едкий образ Мастера Джона жег глаза праведниц: концентрат непристойности, доведенный до абсурда. Я до сих пор не уверена: не знай я Джона, сообразила бы я, что это карикатура? Стриптиз – это комедия, мужской стриптиз – комедия вдвойне, любил повторять Джон, но, встречаясь с табу, люди становятся пугливы как дети. Воспринимают все слишком всерьез.

Насчет стриптиза и комедии – это ведь он же меня и просветил: до нашей встречи я была уверена, что все эти парни, они не шутят. По его же словам выходило: шутят. Другое дело, что – Джон не уставал объяснять – в правильном раздевании всегда имеет место сценарий, история. Иначе все теряет смысл. Я видела несколько стриптиз-шоу в его исполнении – действительно, сценарий был всегда. Иногда удачный, иногда откровенно провальный, но экспериментировать Джон не боялся, и провалов не боялся тоже. Джон с розой в зубах (брюки элегантно расстегиваются). Джон, звонящий по телефону возлюбленной (вместо телефонной трубки – банан). В девчачьей мини-юбке со стразами, с глазами, густо подведенными черным, и в черных колготках. В роли Человека-Паука (само собой, обнажающегося). Истории любви, соблазнения, погони – а иногда даже мешанина из стриптиза и боевых искусств. Цап – она ведь тоже была артистка – как-то раз изобразила стриптиз в амплуа подмосковного гопника; я хохотала как ненормальная. В этом не было ни грамма от вялых эротических шоу, которые

мне приходилось видеть в Москве: заученные движения усталых девиц – неприкрытое равнодушие, горсть прокисшей клубники с молоком. Нет, это было очень весело. Весело и стыдно.

Пожалуй, только встретившись взглядом с плакатным Мастером Джоном, я и осознала: да, я действительно в Авиньоне. Теперь жди приключений.

16го – в Авиньоне со мной (фестиваль)
17го – Экс-ан-Прованс (прекрасный город) – с Алексисом
с 18го по 20е – Бандоль (это на море) с Эдуардом
20его: Тулуза с Флорианом? Ну, посмотрим
22е: возвращайся ко мне в Авиньон

Так выглядел план, который я получила от Джона в письме примерно за неделю до отъезда. Ничего лишнего: все предельно ясно и довольно насыщенно. Я растрогалась: я бы и сама нашла, чем заняться, но нет, он озадачил друзей, придумал для меня программу. Мой милый гид. Мое домашнее турагентство.

Сегодня шестнадцатое. Значит, «*в Авиньоне со мной, фестиваль*».

– –

Джон так и остался с голым торсом, только прихватил сумку. Паоло натянул поверх полосатых лосин другие штаны, уже черные (лосины игривым анонсом торчали из-под резинки, но он быстро прикрыл их борцовкой). На обеих лопатках у него были вытатуированы две звезды: большие, невычурные. Просто абрисы звезд.

Город уже дышал, притом тяжело. К одиннадцати солнце отбросило утреннюю учтивость, от нежных поцелуев украдкой не осталось и следа: жарило вовсю. Мы снова вошли в старый город; внутрь уводила узенькая улица (рю де ля Карретери, прочла я на вывеске). Она напоминала раскрашенный пейзаж со старинной открытки: пастельные, пыльно-цветные тона, стены домов в струпьях облезающей краски, кованые балконы. Жестяные трубы, а вокруг них – спагетти проводов. Плакаты, плакаты, плакаты, везде, где только можно. В витринах лавок, словно пушечные ядра, темнели горки овощей и фруктов.

Там, где язык дороги раздваивался, уткнувшись в маленькую площадь с иссохшим фонтаном, сбоку пристроился бар; на пятачке перед входом были расставлены железные столики. У самой стены они еще оставались в тени, но большая часть уже жарилась под солнцем. Публика жалась к стене. Мы заняли последние свободные стулья. Из прохладных недр бара выскользнул официант, мышиного цвета блондин: тело как циркуль, лицо как бокал со льдом. Джон заказал кофе. Официант отстраненно кивнул и вновь унесся в свой свежий грот. Площадь так сияла, что было больно смотреть.

– Так чем ты занимаешься? – спросил Паоло.

Никогда не любила этот вопрос. Редко получалось ответить на него внятно. Я затянула знакомый припев:

– У меня две профессии…

(Главное – не слишком углубляться в детали)

– Первая – ну, назовем это – «журналы». Я долго работала в женском глянце, знаешь – красота, карьера, секс, пять способов увести парня у подруги. Баночки, тряпочки. Вот это все.

– А что именно делала? – Паоло потянулся к зубочисткам. Я пожала плечами:

– Разное. Была редактором маленького журнала, замглавного, главным. Потом снова обычным редактором, но журнал был уже крутой. Потом ушла на вольные хлеба. Потом устала, переключилась на соцсети. – (Непонимающий взгляд). – В фейсбуке, знаешь? Я веду страницы крупных компаний.

– Праааааавда?

– Серьеоооозно?

Желто-песочные стены домов, нечесаные платаны, фонарные столбы резко подались ко мне, нависли сверху, чтобы лучше слышать. Камни мостовой, как крабы, со всего города сбежались к моим ногам; вывески изогнулись, чтобы не пропустить ни слова. Весь фестивальный Авиньон затрясся в общем хохоте, завизжал, завыл:

– Вы слышали?

– Нет, она серьезно?

– Страницы в фейсбуке для компаний? Какие-какие страницы? Для чего-чего?

– И это ее работа?!

– Ну и дела!

Хохот заполнил собой весь мир. Хохот не так чтобы злой; скорей, изумленный. Мне и самой вдруг показалось, что я ляпнула какую-то глупость. Как забавно устроен ум; все явления двухдневной давности – фейсбук, крупные компании, оперные концерты – вдруг стали вымышленными. Мне хватило пары часов, чтобы перепрыгнуть из одной системы координат в другую: в ту, где *ведение страниц в фейсбуке для компаний* выглядело занятием странным.

С другой стороны – чему удивляться? Разные версии реальности стремятся аннулировать друг друга. Мне это было прекрасно известно.

Я отмахнулась от хохочущих стен, тем более что лицо Паоло выражало вежливый интерес, не более. С его гениальным носом, это выражение ему ужасно шло. Надменная учтивость испанского гранда, но я-то знала: там, под черными штанами – лосины в полоску.

– Вторая работа, – продолжила я, – это искусство. Я занимаюсь антиквариатом.

– В смысле? – уточнил Паоло. – Ты продаешь старую мебель?

На этот вопрос нельзя было ответить в двух словах. В который раз я подумала о том, что надо, наконец, собраться с мыслями и сочинить понятную формулировку, уместив в несколько слов то обилие непонятного всего, чем я занималась. Мои пространные ответы порождают еще больше вопросов.

– Я работала в галерее. – принялась объяснять я. – Когда поняла, что с глянцем всё – устала, каждый год одно и то же, одни и те же темы, одни и те же лица – то выучилась на искусствоведа. Выучилась, конечно – одно название, за два года такому не выучишься. Но это было хоть что-то. Устроилась в галерею. Мебель – нет, но картины продавала. Еще вазочки, часы, статуэтки.

Я решила опустить все, что было до: ресторан с Анилом, порностудия, брачное агентство, торговля штанами на ночном базаре и прочее. Еще на час рассказов, а хорошей рассказчицей я себя никогда не считала.

– Получалось с вазочками? – полюбопытствовал Паоло. Я призналась:

– Не очень. Но сейчас меня зовут руководить издательским отделом в антикварной фирме. Ну, знаешь, заниматься всем, что насчет текстов. Буклеты, листовки, сайт. Журнал. Эээ… Не знаю, каталоги. Фирма хорошая, люди хорошие.

– Пойдешь? – спросил Джон.

– Собираюсь. – я пожала плечами. – Меня смущает, что офис, что полный день, что опять будет режим. Но все-таки это неплохой вариант. Я не хотела в офис – но люди правда хорошие. Позиция хорошая. Стабильность.

Слово «стабильность» в этом мире полосатых лосин прозвучало так же нелепо, как прозвучало бы воззвание к господу на вечеринке атеистов.

Стеклянный официант принес ребятам два наперстка с эспрессо; для меня было что-то невообразимо кисейное, кремовое, с кипельно-белой фатой из сливок. Паоло потянулся к сахарнице, выудил оттуда кусочек коричневого сахара.

– Еще в небольшой музей зовут, лекции читать. Параллельно интернет-магазин делаю. Много всего. Надо как-то приоритеты расставить, я запуталась. К вам вот приехала, отдохнуть, проветрить голову. Потом поеду в Италию. Знаешь, как я всегда делаю? Когда я отправляюсь в путешествие, то задаю ему вопрос. И обычно оно отвечает. Так или иначе.

– А, – только и сказал Паоло. Я не поняла, было ли это междометие знаком одобрения, или, наоборот, он остался равнодушен к моим методам. Стены, вывески, платаны отпрянули от меня, вернулись к своему делу: охранять город, блюсти геометрию. Чтобы поддержать разговор, я поинтересовалась:

– Чем жонглируешь? И где?

– Шарами, – ответил Паоло. – Большими прозрачными шарами. Просто на улице. Как и многие тут.

– Он страшно бедный. – сообщил Джон. И мне вдруг почему-то сразу стало неловко: будто я сидела и прикидывалась человеком того же племени, а у самой было *всё*.

Сделав вид, что у меня затекли ноги, я встала из-за стола и направилась к фонтану. Там, на слепой желтой стене, был искусно нарисован некто: бродяга, присевший отдохнуть. Видавшее виды пальто, надвинутая на глаза шляпа, заскорузлые ботинки. Под ногами вертится кудлатая собачонка. Такой безобидный издалека – оплывшие плечи, руки на коленях, само умиротворение и благость. Я подошла поближе и вздрогнула: из-под шляпы сверкали живые злобные глаза.

А что, если так оно и есть, подумала я. Что, если я всем вру.

Когда кофе был выпит, Паоло забросил на плечо рюкзак и, проштамповав на мне прощальный поцелуй, убежал тренироваться. А Джон постановил: идем на Пляс дю Пале. Там всегда происходит самое интересное.

– А в четыре пойдем к японцам. – строго добавил он, так, будто ожидал возражений.

День предстоял длинный, а я не сказать, что пришла в себя. Знакомство с новым городом не должно начинаться с усталости; это все равно что прийти на первое свидание с похмелья. Кисейные облака в моей чашке, конечно, не помогли. Мне было все равно: пляс так пляс.

Если бы я знала, что там и приключится все непоправимое – пошла бы я?

Да. Пошла бы все равно.

– –

Мы покинули благостную тень и снова двинулись по рю де ля Карретери. Улица: еще не тесная, но не широкая, в ширину быстрого взгляда. Дома кажутся высокими – и все же много света. Свет, как ласка, как признание в любви. Солнце перестало раздражать. Лавочки распахнули доверчивые рты: лавочки с фруктами, табаком, золотистой выпечкой. Маленькие кофейни на два плетеных стула и прачечные на две стиральных машины. Темные пещеры кебабных, из которых заманчиво пахло сытостью.

– Я не очень разговорчивый, ты прости. Не подумай на себя, – вдруг включился, как радиоприемник, Джон. – Это все из-за работы. В голове только шоу.

А мне и не хотелось говорить; я таращилась на мир. По улице брели ленивые туристы. Привалившись к запрещающему знаку, отдыхал в тени красный велосипед (вблизи стало видно: ржавый). Из рваного абриса крыш на горизонте торчала башня с часами: дылда-лоботряс, усаженный на заднюю парту, потому что длиннее всех в классе. Пахло свежей выпечкой. Авиньон начинал мне нравиться.

Так может, вдруг снова мелькнула мысль, я и правда прикидываюсь тем, кем больше не являюсь? Обманом просочилась в чужое кино и хожу тут, делаю вид? Положа руку на сердце: я ведь уже вышла из лиги веселых и находчивых. Как говорят (смешно говорят), *остепени-*

лась. Года три как жила довольно ровно, и не сказать, что скучно. Нет, была довольна. Сперва, как шутила, была одной ногой замужем, работала в шумном женском журнале, где меня, в общем, любили. Устала, перегорела, захотела в очередной раз все изменить (резкие движения за мной никогда не ржавели). Два года убила на второе образование: решила стать специалистом по антиквариату. Самонадеянно, да, но меня всегда завораживали предметы с историей (это началось с археологических экспедиций, куда я ездила в детстве). «Ну, как там яйца Фаберже?» – ехидно интересовались бывшие коллеги-журналисты. Яйца были хорошо, вот только я ни разу их не видела: в основном, мне приходилось иметь дело с живописью; так получилось. Вообще, меня интересовало антикварное оружие, но к оружейникам я пробиться не успела. Не успела – или отвела судьба, не знаю: бодливой корове, как говорится. Уже не суть. После института я устроилась в частную художественную галерею, где научилась называть Айвазовского Айвазом (*чему бы полезному научилась,* говорил папа в таких случаях), понимать лексику экспертных заключений, продумывать развеску картин на стенах. В итоге вышло не так уж плохо. Антикварный мир, мир переливчатых иллюзий и изящных мистификаций, я полюбила, он завораживал меня: все было так сомнительно, так красиво. Я любила слушать, как переругиваются эксперты («Захаров сказал, фальшак!» – «А вы Захарова слушайте, с ним уже ни один музей не работает»), смотреть как реставраторы ваткой, обмотанной вокруг кончика кисти, еле касаясь, снимают по миллимикрону старый лак с картины восемнадцатого века – снимают часами; спокойно стоят, вглядываясь в квадратик холста размером со спичечный коробок. Любила веселый балаган Антикварного Салона («что продают, сами не знают, но хотят восемьдесят!»). Любила шум аукционного зала, когда идет борьба – за что идет? – да за какую-то ерунду, слова доброго не стоит, но всех уже понесло, не остановить; лица красные как на ипподроме, глаза как плошки: восемьсот! Восемьсот двадцать! Девятьсот пятьдесят!

Периодически мы с Лешей ходили в оперу – я наряжалась, он поил меня шампанским в буфете – ходили в музей. Иногда он возил меня ужинать в элегантные заведения, и мы хихикали, втихушку разглядывая расфуфыренных соседей за соседними столиками. Потом – когда с Лешей все кончилось и я поселилась с Аселией – еще полгода сидела тихо, днем листала книжки в своей галерее, вечерами читала викторианский роман. В оперу уже ходила с Сонюшей. По выходным протирала стулья в модных барах. Потихоньку начала делать свой интернет-магазин (пообщаться с арт-дилерами, попробовать, покрутиться; свою настоящую галерею в городе бы не потянула, конечно, откуда такие деньги – а в интернете был шанс; разумеется, посредничество, не более того), кое-кто уже согласился помочь. Все как-то завертелось: тут же позвонили другие, те самые ребята из антикварной фирмы; позвали запускать у них издательский отдел. Им нравилось, как я пишу, плюс, я была, что называется, *толковая*. Ответственная. Они мне тоже понравились – только в офис все равно не хотелось. Я попросила отсрочку: сказала, вернусь из Европы, и возьмемся за дело. Так и договорились.

Зарабатывала хорошо, то есть – вообще не жаловалась. Квартира у нас с Аселией была дорогущая, хоть и маленькая. Зато под окнами лес.

Откуда взялась вся эта прекрасная жизнь? От жадности, конечно.

Откуда взялось все остальное? Тоже от жадности. Просто совсем другого сорта.

Жадина-говядина.

– –

Быстро мы не продвигались: Джон все время натыкался на знакомых. Кому-то молча и весело жал руку, не замедляя шага – это походило на па, вырванное из народного танца – а с кем-то останавливался перекинуться парой слов, быстро и жарко. Тогда я перетаптывалась рядом, в полной мере ощущая, что такое быть иностранкой в гостях: уже не туристка, но еще

не местная. Нас с Джоном выручал английский, но в Авиньоне люди предпочитали родной язык.

Какая ирония: я начала учить французский примерно в то же время, что и писать палочки. Сама захотела. Родители одобряли: девочке пригодится второй иностранный. Может, она станет переводчиком. Или захочет уехать? Это было начало перестройки: никто из нас никуда не ездил, не видел в глаза никаких иностранцев, но эмиграция была тем, чего яростно желали детям. Уехать из этой проклятой страны, да подальше. Забыть ее насовсем. Пишите письма.

У меня, понятно, в восемь лет резоны были совсем другие; я занималась языком из любопытства. Чарующий поток красивых звуков, переливы и мяуканье, – мне так нравилось их воспроизводить! Язык другой, далекой планеты. Бесполезный и красивый, что-то вроде живой бабочки в волосах. Я вообще не воспринимала его как инструмент – ну нельзя же, в самом деле, им орудовать как лопатой. Не была к этому готова морально (впрочем, мне вообще не хватало приземленности – ни тогда, ни потом). Помню, однажды к друзьям приехали по обмену две маленькие француженки, сестры-погодки. Одну звали Кристель, вторую как-то еще. И меня, звезду и отличницу, повели с ними знакомиться.

Я вошла в комнату, и Кристель – младшая – обратилась ко мне со светским вопросом.

До сих пор помню этот момент.

К одиннадцати я шпарила по-французски совершенно свободно, писала длиннющие сочинения, синхронно переводила маме песни Патрисии Каас. У меня не было проблем со слухом. Я прекрасно поняла, что сказала Кристель. Но Кристель – она была не одноклассницей и даже не просто девочкой. Она была *явлением*. До этого момента Франция не являлась для меня настолько реальной, чтобы всерьез предположить, что французы действительно существуют. Все это оставалось игрой. И вдруг появилась живая француженка. Я ее увидела, услышала – и остолбенела. То, что эта девочка говорит со мной на *моем* языке, словно бы не существовавшем до этого в реальном мире – это было настоящее потрясение. Потрясение такой силы, что я не смогла ей ничего ответить. Я просто стояла столбом, переживая внутри взрыв сверхновой звезды.

Потом, ближе к двухтысячному, с деньгами в семье стало плохо. А у кого было хорошо? У кого-то было, но, в общем, родина не выбиралась из кризисов. О поездке во Францию не то что не шла речь (речь, скорей уж, шла о том, как наскрести на джинсы) – это событие было из разряда нереальных. La condition irréelle. Примерно тот же класс вероятности, что и полет на Луну. Когда пришло время поступать в институт – разумеется, экономический, он давал *шансы* – я распрощалась с уроками французского, чтобы записаться на курсы по математике, и с тех пор к языку не возвращалась. За пятнадцать лет в моей голове от него остался лишь жалкий остов: две-три ржавых конструкции, торчащих из бурьяна под палящим солнцем. Est-ce que je peux…? Où est la gare? Ах да, и еще несколько строк из народной песенки про авиньонский мост —

Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y dance
Sur le pont d'Avignon
On y danse tout en rond…

Притормаживая с Джоном на улице, я понимала, что французский превратился для меня в журчание, из которого, как рыбки, периодически выскакивают знакомые слова, но точно так же быстро, влекомые силой тяжести и стремлением вернуться в родную среду, скрываются в бурлящем потоке. Рыбок было мало. Слушая чужую непонятную речь, я чувствовала себя как

надувная игрушка: пустой и глуповатой. Бред какой-то, сердилась я. Стоило семь лет учиться, чтобы в нужный момент осознать, что не понимаешь ни слова.

Sur le pont d'Avignon…

– –

Афиши бесконечно тянули на себя внимание. Афиши, афиши, да еще листовки и ряженые. Ряженых было едва ли не больше, чем обычных прохожих.

– Слушай, – наконец решила спросить я. – Откуда их столько? Совсем не похоже на фестиваль урожая. Ты же вроде писал о чем-то типа ярмарки, да?

– Какой урожай? – Джон вытаращил свои карие глаза. Они и так-то были большие, а когда он удивлялся, становились совсем круглые. – Я тебе писал про Авиньонский театральный фестиваль! Один из самых крупных, самых старых в Европе. Ярмарка! Ну ты как скажешь…

Но, прибавил он задумчиво, в этом году туристов маловато. По сравнению с прошлым годом вообще никого. Почему? Да если бы он знал. Может, кризис.

Навстречу из толпы выскочил долговязый рыжий парень с плакатом в руках и скользнул было мимо, задумавшись, но Джон схватил его за плечо. В линялой бордовой футболке и вытертых джинсах, парень выглядел помятым и изрядно уставшим. С плаката глядел он же, но совсем при другом параде: в синем костюме, при галстуке, в лучах софитов и с донжуанским прищуром. В руках – букет моркови; ботва зажата в кулаке. PACO, было написано над головой.

Джон принялся что-то возмущенно рассказывать рыжему. Рыжий тряс головой. Я продолжала исполнять несложную роль надувной игрушки. Через минуту Джон спохватился:

– Кстати, это Мара. – отрекомендовал меня он. – Она из России. – И, обернувшись ко мне, благословил: – Можешь поцеловать его, у нас так принято.

– Enchanté, – галантно бросил любитель моркови, после чего мгновенно потерял ко мне интерес.

Вокруг становилось всё оживленней: мне то и дело приходилось сдвигаться, перетаптываться, совершать мелкие движения уличного танца, который всегда начинается сам собой, если на улице слишком много людей. Немножко влево, немножко вправо, и чуть-чуть плечом, пардон, это вы пардон, ничего страшного… Enchanté, если дословно – «очарован». Какое хорошее слово, думала я. Надо запомнить.

– Это был Пако, один из немногих, у кого реально что-то получилось. – сообщил Джон, когда мы наконец попрощались с рыжим. – Он тоже начинал с улицы. Сейчас у него свое шоу на ТВ. То, се, про политику, про жизнь. Он классный, смешной. Но, – добавил Джон безжалостно, – он в основном говорит, не показывает. Жаль, что у тебя так плохо с французским.

– Увы. – буркнула я.

Улица вдруг плеснула вширь, стала полноводной. Асфальт кончился: его сменили широкие каменные плиты, отполированные тысячами шаркающих ступней. Дома стали выше и массивней. То и дело нам попадались теперь магазины с дорогой одеждой: стекла в пол, расфуфыренные манекены в витринах. Кофейни и рестораны уже чувствовали себя на улице вольготней: выставляли уже не по два столика, а по восемь, десять, двенадцать. Вне всяких сомнений, мы приближались к центру города, а город – тот был охвачен фестивалем. Позже, прошерстив интернет, я выяснила, что авиньонский фестиваль действительно, как и говорил Джон, был старейшим в Европе: тысячи артистов, хороших и разных (последних больше), сотни шоу каждый день, в театрах и на улице. Но тогда – в первый день – меня ошеломила сама картинка, мельтешение красок. Улицы, заваленные листовками. Листовки, листовки повсюду. На столиках кафе, в руках у прохожих, воткнутые в расселины в стенах. Скомканные, лежащие на мосто-

вой. Порывы ветра швыряли под ноги разноцветные протуберанцы. Вот уж насмешила, дала жару! – Авиньон снова потешался надо мной, разворачивая перед глазами бесконечно-пеструю ленту из плакатов, граффити, афиш. Ярмарка, говоришь?..

– Джон, – позвала я. – Напомни, «enchanté» говорят только мужчины женщинам? Или наоборот тоже можно?

– Все всем говорят, – потусторонним голосом ответил Джон. – Это универсальное.

Он снова был погружен в себя.

До меня только потом дошло, как он работает: как глубоко уходит в процесс, как далеко это выносит его за скобки внешнего мира. Почему-то я ощущала это так: он отправляется в бескрайнюю серую пустыню, под темное небо, где он совсем один, бредет и бредет все дальше среди нагромождений камней. Иногда я будто смотрела ему в спину. Камни, камни, камни. Охотился там за редкими растениями, диковинными животными – одна находка на сотни, тысячи бескрайних бездн. Всякий раз одиночный поход. Вот так он работал.

А *потом* так работала и я.

– –

Мы нырнули в маленькую улочку, застрявшую в расселине между крутыми откосами. Улочка была вымощена неудобными круглыми камнями: точь-в-точь утиный брод. Джон тащил меня за руку. Я дважды запнулась, чертыхнулась и тут же вывалилась вслед за Джоном на широкую городскую площадь. Каменные откосы, высившиеся слева и справа от улочки-речки, оказались опорами гигантского замка.

– Папский дворец! – объявил Джон так торжественно, будто сам его построил.

Есть постройки, которые мгновенно превращают тебя в лилипута. Увидев Папский дворец, я на секунду остолбенела: какой огромный. И неприступный как крепость… Да ведь крепостью он и был. Ни одной мягкой, фривольной линии, сколько глаз хватит – башни и арки, углы да прямые. По бежевым стенам растушеван черный: то ли плесень, то ли копоть. Вывален набок язык древней лестницы.

Площадь перед замком – тоже огромная, вымощенная камнем – стелилась ярусами. По краю, в отдалении, столпились кафе. Из-за своих размеров площадь казалась почти безлюдной: стайки туристов, похожие на косяки мелких рыб, не особенно меняли дела. Впрочем, у замковой стены явно что-то происходило, а, вернее, там чего-то ждали: два десятка зевак коротали время, собравшись кучками. Другие сидели на мостовой.

– Ты тоже садись, – велел Джон. – Сейчас Люсьен начнет. А я отойду поговорить.

Алекс! Где тебя носило? – возмущенный крик из-под колонии белых зонтиков. Так кричат только родители, на кого-то не старше пяти. Жизнерадостный визг в ответ. Безветрие: воздух как загустевшая карамель. Бледно-голубое скучающее небо. Лица зевак красные, а у кого и коричневые. Рокот многолюдья, шум тишины. Брусчатка под подошвами туфель: площадь, разбегающаяся от ног, вдалеке казалась выложенной монетками.

Подогнув колени, я села на мостовую. От нее исходило тепло.

Впереди на фоне дворцовой стены маячила фигурка. Человек – тот, кого Джон назвал Люсьеном – сперва стоял к публике спиной, но затем развернулся и двинулся к зрителям. В правой руке у него был чемоданчик, в левой – переносная колонка, по виду напоминавшая шлем Дарта Вейдера. Черные брюки с подтяжками и белая рубашка, галстук, котелок. Обиженные губы, пухлые щеки, мясистый нос: лицо постаревшего Карлсона. Очки в роговой оправе.

Зрители смотрели благожелательно и немного равнодушно, словно дачники, чуть-чуть переевшие за обедом. Ох уж эта жара. Каждый вздох с ленцой.

– Добрый день, дамы и господа! – воскликнул артист, и добавил еще что-то по-французски (что? само собой, я не поняла). Пара человек хихикнули; остальные отблагодарили оратора учтивым молчанием. Несколько туристов, проходивших мимо, замедлили шаг и остановились посмотреть.

Люсьен развернулся к колонке, щелкнул кнопкой (из колонки вырвались звуки, хриплые, как радио преисподней) и сделал несколько прыжков, но тут же как будто на что-то налетел – бац! Испуг. Руки в белых перчатках вспорхнули к лицу; жест то ли отчаяния, то ли ужаса. Еще прыжок. Ладони уперлись в невидимую стену. Скоро перебирая пальцами по этой плоскости, Люсьен, словно крабик, засеменил бочком вправо. Снова бац! Правое плечо с размаху ударилось о незримое препятствие. Брови подскочили вверх, рот сделался длинным. Мгновенное замешательство – и белые перчатки опять пустились в экспедицию вдоль прозрачной преграды.

Этот номер я не раз видела и в России; похоже, он входил в портфолио многих артистов. Люсьен мастерски создавал воображаемый лабиринт: втягивал живот, словно протискиваясь по узеньким тоннелям, постукивал по невидимой стене сжатыми кулаками. Подпрыгивал. Приседал. Казалось, выход где-то рядом. Но увы! У истории оказался печальный конец: под последний хриплый аккорд из пасти Дарта Вейдера Люсьен лишился сил и упал замертво. Зрители захлопали – вяло.

Полежав мгновение, усопший очнулся и поспешил к своему чемоданчику. Черная синтетическая жилетка топорщилась на спине.

– И как ему не жарко. – посочувствовал кто-то сзади.

Людей собралось уже порядочно. В первом ряду зрители сидели как я, по-турецки, или вытянув ноги. Сзади стояли. В основном это были туристы: шорты и бейсболки, свободные майки и юбки-разлетайки, в самый раз для такой жары. Подошвы туристических сандалий, похожие на танковые гусеницы. Тяжелые фотоаппараты, камнем тянущие к земле (кто-нибудь когда-нибудь пересматривает эти кадры?). Дети: стоящие и сидящие на корточках. Персиковый загар на шелковых щечках, выгоревшие волосы, острые лопатки, ясные глазки. Многоцветная публика, как овощной гарнир по краю площадки.

Туристы. Я никак не могла (кому я вру? даже не пыталась) отделаться от чувства превосходства; считала их беспомощными. Турист – это человек, которого пичкают пластмассой, ширпотребом, премиленькими видами (налево – дворец! справа – музей!). Кому-то того и надо, но мне было подавай другое – не облагороженное, настоящее. Оно часто оказывалось нефотогеничным, узловатым, выщербленным, с кривыми корнями и ядовитыми листьями, но всегда, во всех случаях, совершенно точно – живым. И оно вмещало в себя очень многое. Океан и дикую разноцветицу. Благоухание и вонь. Фигурки богов, липкие от масла. Горячие плиты храмовых дворов, фонари на ночных серпантинах, изливающие на дорогу мертвенный белый свет. Бешеных таксистов. Мой мотоцикл. Переломанные кости. Тринадцать швов на губе. Мелкие финансовые авантюры и черную бухгалтерию, прогулки по деревне в одеялах за ручку с Рыжей среди пальм и помоек, Каши-Варанаси, где собаки таскают кости из погребальных пепелищ и где охватывает потустороннее безразличие ко всему, Гималаи и священную гору Аруначалу, и мертвецкий сон на грязной тряпке в кустах у вокзала Виктория в Бомбее. И то, как, сидя в плену у Анила, я слушала вечерами гоа-транс, а днями читала «Диалоги» Бродского и Волкова, – чтобы не сойти с ума и не забыть, кто я.

Удивительная страна. Многое она мне рассказала, и кажется, будто все, что происходило со мной вот уже столько лет, и все, что я делала со своей жизнью сама, тянулось оттуда, из лукавой, дурманной и невозможной Индии, страны чудес и родины слонов. Индия выкинула со мной эту штуку, разрезала передо мной мир как арбуз: вот живое, а вот пластмасса. Индия научила меня смелости и смеяться, а степь и танец – те возвращали мне душу.

– –

Следующий номер Люсьена был посвящен тайнам гравитации: артист изображал, как его чемоданчик зацепился за невидимый крюк в воздухе, и он не может сдвинуть его с места. Мне вдруг стало скучно. Я нашла глазами Джона: тот стоял, фамильярно опершись на стену папского дворца (никакого почтения к царственным руинам), и беседовал с мускулистым человеком в темно-сером комбинезоне, похожим на кочегара. Уличные артисты. Им всегда есть, о чем поговорить.

Я поднялась – ух, как затекли ноги – и отправилась побродить по площади.

Второй ярус был пуст, словно футбольное поле. По краю, нашпигованный ленивыми туристами, полз яркий туристический трамвайчик; одинокое цветное пятно на белесом холсте. Он, да еще свеча кипариса, распоровшая небо возле церкви Нотр-Дам-де-Дом. Церковь парила над площадью; к ней поднималось несколько пролетов широкой лестницы. Сверху, на площадке перед входом, высилось гигантское белоснежное распятие. С него, склонив голову, обозревал площадь Христос. Судя по силуэтам, мельтешившим у парапета, от христовых ног открывался недурной вид.

По лестнице ползли к богу одуревшие от жары туристы.

Я сбежала от солнца, спряталась под платанами. Взгляд уперся в голубую афишку на фонарном столбе. «Le Revizor. Nikolai Gogol», прочла я и усмехнулась. Увидеть русское слово, написанное латиницей – все равно что столкнуться на улице со старым приятелем, разодетым в нелепый и странный наряд. С буквой i в слове Revizor развлекалась толстенькая мышь: шкодливо сбрасывала шарик со столбика. На секунду мне показалось, что шариком мышь целится в меня; я моргнула – видение исчезло. Неподалеку две девицы умостили на мусорном баке фотоаппарат, а потом отбежали подальше и синхронно подпрыгнули на счет «три». От них испуганно отскочила рыжая собака. Из окна над булочной свесилась женщина в ночной рубашке и рявкнула что-то вниз. Ленивое время тяжко катило по площади телегу, груженую летом, а над ними волоклось солнце.

– –

Индия – это был чистой воды авантюризм, конечно. Хотя тогда я это так не называла. Я вообще не задумывалась о том, как назвать тот, по мнению многих, номер, который я тогда выкинула. Это были дни моей третьей по счету нормальной, официальной работы: я была заместителем главного редактора нового женского журнала о красоте. Полгода с тех пор, как меня повысили – не без прозрачнейших намеков о том, какая мне оказана честь. (С другой стороны, а разве нет, не была оказана? Мне было двадцать два: в таком возрасте замглавными не становятся. Не становились. Сейчас все изменилось). По иронии судьбы, журнал был родом из Франции: мой издательский дом приобрел лицензию на выпуск. Большая часть статей переводилась с французского: мне даже пришлось вспоминать язык, забытый в старших классах. Был такой миг возвращения. Не такой уж и миг, впрочем: журнал я ставила на ноги около полугода. *Ста-ви-ла-на…* Звучит, не правда ли? Будто памятник самой себе: я в венке из лавровых листьев на гранитном пьедестале (вокруг головы – нимб). Или, нет: на пьедестале – но на плечах товарный вагон. Смешно, но, по факту, одно время на мне и правда висело три четверти всей журнальной машинерии, не считая съемок («*когда б вы знали, из какого сора…*»). Бог мой, сколько чудовищных ошибок я делала! Большей части по неопытности даже не замечая. Хотя неудивительно: мое восхождение на должность было обставлено довольно странно. Все случилось как-то вдруг: у меня не было никакого наставника, старшего товарища, никто не объяснил мне, что журнал – это не просто сборник хороших статей, и никто не рассказал мне, как вообще мыслит заместитель главного редактора. Никто не сообщил мне о тех вещах, которые человеку на руководящей позиции в издательском бизнесе должны быть хотя бы условно известны.

А мне и в голову не приходило спросить: к тому моменту я еще настолько не дозрела, что просто не представляла уровень собственной некомпетентности. Я была обычным редактором. А потом откуда ни возьмись вдруг взялся этот журнал, и его просто навалили на меня сверху как тяжелый тулуп. И я, не разбирая дороги, куда-то вслепую понеслась.

Героизмом свои переработки я не считала; просто пахала по двенадцать часов в сутки. Это было со страху. Тогда мне казалось: если я позволю себе расслабиться, случится что-то ужасное. Стахановским подвигом я должна рассчитываться за свой свободный выбор (проще говоря – за то, что бросила институт) и возможность заниматься любимым делом (то есть, писать). Если хоть чуть-чуть сбавлю обороты, то явится черт из преисподней и все отнимет: неплохую зарплату, лестную позицию, репутацию. И чувство собственного достоинства тоже отберет за неуплату. День ото дня проживая, с одной стороны, в своего рода творческой экзальтации а, с другой, в непреходящем испуге от свалившейся на меня должности навырост, я пахала настолько остервенело, что в какой-то момент обнаружила себя в Индии. Мой поезд так разогнался, что проскочил через континент.

Сейчас, когда я думаю, как это вышло, то не могу вспомнить: как же, с учетом всех нюансов – бедственного состояния моей психики, эпохи, стоявшей на дворе – у меня хватило наглости? Потом – понятно, но тогда, в первый раз? По идее, я должна была быть надежнейшим образом стреножена как ответственностью и амбициями, так и неопределенностью самого времени – вовсе не располагавшего к тому, чтобы разбрасываться хорошей карьерой. Но помню, что был октябрь: я встретила знакомую, мы пошли выпить кофе. Я похвасталась успехами. Она мне: а я в Индию через неделю, работать в туризме. Я: везет, зимы не будет. Всё. Весь разговор.

Я не знала об Индии ни-че-го. Строго говоря, мой туристический опыт к тому моменту сводился к единственной школьной поездке в Чехию, где нас водили строем под конвоем. Что у меня повернулось в голове, я не помню. Что? Может, очередная сумасшедшая сдача номера, когда я вдруг осознала: всем, кроме меня, плевать на этот журнал. А может, меня кто-то разозлил. Но все же, полагаю, причина была вот в чем: до меня дошло, что я уже давно не радуюсь работе. Бывают такие озарения – как лопата снега за шиворот. Просто я привыкла думать, что радуюсь: ведь, когда все начиналось, я была просто счастлива. В глубине души я ощущала, что как будто утерла нос всем (в первую очередь – *старшим*, конечно), кто повторял, что работа человеку не для удовольствия. А таких было много: как ни крути, в начале двухтысячных людям, в основном, еще было не до креатива. Считалось, что работа – для денег. Отмучался в офисе – пошел в бар, радуйся там. Платят за тяжкий труд, за радостный – не очень. Но мне-то платили! Стоило ради этого бросить экономический институт! Гиперболизируя, как свойственно юности, свои выводы и натягивая свой счастливый опыт на весь глобус, я уверилась в том, что вывела новое правило – и была страшно этим горда. Мир казался крайне понятным.

Перемены в таких вещах замечаешь не сразу. Сначала я чувствовала себя победителем – а, кроме того, я действительно любила свои глянцы. Первый журнал, в который меня приняли в штат, правда, скоро разогнали (такое бывает), но совсем скоро меня позвали в другой. Там все тоже было хорошо. Потом меня повысили – перевели в тот самый злополучный журнал о красоте – и вот с ним-то как раз и не повезло. Из этого многострадального издания с самого начала торчали нитки. Бюджет – слезы. Коллектив – кучка сложных натур. Все они были выходцами из другого издания о моде, которое не оправдало ожиданий и было безжалостно закрыто – кудахчущую же редакцию во главе с главным редактором, уязвленным в самое сердце, быстро запихнули в новорожденный журнал о красоте (красота, мода – какая, мол, разница), а сбоку в этот зачерствелый пирог воткнули меня. С чего? Такое чувство, что назло кому-то.

Среди экс-модников я не была своей; главный редактор продолжал насаждать в редакции идеологию светского салона, я же была чем-то вроде подкидыша, невесть как затесавшегося в лебединую стаю. Из меня тоже торчали нитки: я одевалась как попало, на работу ходила

не в туфлях на каблуках, а в старых кроссовках, и робела на светских мероприятиях. Никак не соответствовала блестящему имиджу издания. Но избавиться от меня было нельзя: как я уже сказала, на мне-то все и держалось. В итоге до меня начали доползать какие-то слухи, мне стали намекать, что моим мнением пытаются манипулировать некие стороны (сторон было в избытке; куда больше двух). Я и сама не заметила, как со временем у меня стало как-то пыльно внутри, гадливо и мучительно скучно, будто я оказалась заперта в пустом кинозале, где крутят бесконечный документальный фильм о жизни насекомых: смотришь и смотришь, как те копошатся, размножаются и поедают фекалии. Можно закрыть глаза, но бобину не сменят.

Впрочем, совсем уж без приятностей та работа не была. Благодаря ей я, например, я получала дорогущую косметику тоннами – и, в числе прочего, открыла для себя духи, которые на много лет вперед стали любимыми (духи присылали разные фирмы, чтобы мы о них писали). Еще я любила ходить на презентации, где пиарщики косметических брендов вкусно кормили журналистов и дарили подарочки (отчасти, там-то я и приобрела вкус к красивой жизни – как к чему-то отчаянно-недоступному, миру, принадлежность к которому мне не удавалось даже сымитировать). Плюс, как я уже сказала, мне нравилось писать. В конце концов, у меня были друзья: парни из редакции мужского журнала по соседству. Не так уж и мало, если подумать. Все это создавало некую иллюзию благополучия и позволяло не замечать внутреннее напряжение, день ото дня во мне нараставшее. Мне казалось, что у меня хорошая работа, что я всем довольна. Пока не случился тот октябрь и в нем – ничего не значащий кофе, спустя неделю после которого я вдруг схватила трубку и позвонила той девочке – с вопросом, не нужны ли им в их Индиях сотрудники. Оказалось – нужны.

Я уложилась в неделю: подмахнула заявление, сдала дела, объявила знакомым, что улетаю в Индию. Сначала не верили, но когда поверили – я сделалась героем эстрады.

– Будь осторожна, Маруся, – участливо предостерегла кадровичка, когда я пришла сдавать пропуск. – У нас такая сфера… Людей очень быстро забывают.

За полгодика не забудете, злопыхнула я про себя. Я тогда была уверена: зловещие предостережения из уст окружающих – верный признак правильного решения (на моем счету уже был уход из института; тогда мне все тоже предрекали скорую гибель). Впрочем, кое-кто меня хвалил: мол, в тихом омуте черти водятся («в тихом» – лишь потому, что про остальные мои шалости мало кто знал). Но мне, в конце концов, было двадцать два. Самый тот возраст для дерзких поступков.

Самое хорошее: из этого дня, из нынешних тридцати, я ведь тоже хвалю ту себя. Эти два поступка – уход из института, побег в Индию – дали мне значительно больше, чем все мои благоразумные поступки, вместе взятые.

Первое, что я помню из Индии: тазы.

Они носят на голове ржавые тазы, полные кирпичей. Тяжелые, тяжелые тазы, но груз неведомым образом делает несущую стройней и выше, будто влечет за макушку вверх, к небу. И, кажется, чем тяжелее таз, тем стройней фигура, тем больше она вытягивается в струнку, тем сильней похожа на тонкое дерево, что стремится ввысь. Здесь другие законы физики.

– –

Я вернулась к Джону около четырех: съела мягкое мороженое, похожее на сгусток весеннего снега, стекающего по пальцам, выпила кофе, сунула нос в несколько сувенирных лавок. Там было душно и рябило в глазах от вездесущего копеечного хлама. В любой стране загляни в любую лавку, и увидишь все то же: магнитики с пятнами расплывшейся краски, подстаканники с гербами, кухонные полотенца (товарный вид до первой стирки). И чашки, напомина-

ющие провинциальных старых дев: пузатых, толстобоких и непременно размалеванных как в последний путь. Чем хуже, тем лучше. Я так ничего и не купила.

Джон по-прежнему с кем-то зубоскалил, подпирая ладонью Папский дворец, но, увидев меня, яростно замахал: где ты бродишь?

Узкая улочка, которая двумя часами раньше привела нас на площадь, стала почти непроходимой: в нее как осетры набились туристы. Они таращились на миниатюрную француженку в рванине и с дредами, пиликавшую на скрипке. Черная шляпа у ее ног раззявила голодную пасть («моя подружка», – бросил Джон). Неподалеку ждали своей очереди другие артисты.

Проскочив через несколько калейдоскопных площадей – афиши-афиши-афиши – мы свернули в переулок, мощеный красными плитами. Вереница каменных столбиков отделяла тротуар от проезжей части. На один из них взобрался мальчишка, раздающий листовки: он балансировал на одной ноге, точно молодой петух. В глаза мне вдруг ударило яркое солнце. И парень, оцепеневший на своем пьедестале, на секунду увиделся мне, ослепшей от света, угольно-черным: дыра в форме мальчишки на цветастом полотне залепленной афишами стены.

Джон бросился наперерез какому-то существу в маске и пожал ему руку.

Существо не внушало симпатии. Я уставилась на него: щуплый голый торс, черные шаровары, маска-шлем – глухая, алая, блестящая; точь-в-точь череп, с которого содрали скальп. Неопреновые нарукавники на цыплячьих ручонках.

Существо было настроено дружелюбно: оно что-то вскрикнуло – похоже, по-японски – после чего схватило мою руку и затрясло.

– Это Мара, она русская, – расцеловать чудовище в честь знакомства, Джон, к счастью, не предложил. – Ну, как ты?

Чудовище затараторило снова – теперь по-французски, но с выраженным японским акцентом. В отверстии для рта поблескивали, как влажная галька, мелкие зубы.

– Он говорит, что у них в этом году новое шоу. – перевел для меня вежливый Джон. И добавил с уважением:

– Он самурай – ты же сообразила, да? Народу немного, но они не сдаются, воюют. Настоящие бойцы.

Тема бойцов тянулась через все наши разговоры красной нитью. Уличный артист – всегда боец, повторял Джон. На улице постоянно идет война: за авторитет, за лучшую площадку, за публику. Воюешь со всеми, без конца, в прямом и переносном смысле. С полицией, с людьми, с самим собой. Когда я уехал в Австралию, я жил под фургоном и тренировался по четырнадцать часов в сутки – чтобы быть первым. Я удивлялась: почему Австралия? С чего вообще это все началось? Где твои родители, мальчик? По словам Джона выходило: с родителями все в порядке, обычная семья. А вот он уж такой уродился: с детства любил выпендриваться. Все время рвался на улицу и устраивал представления; хотел, чтобы на него смотрели. Почему? Да черт его знает. Такой характер. Сейчас еще ладно, а знаешь, какой я раньше был? Все время лез на рожон. Приходил на чужие площадки и заявлял: ладно, мол, ты тут выступаешь, но я приду – и твоя публика будет моей. Я тебя уделаю, я круче! И так оно и выходило. Меня многие не любили, да и сейчас любят не все. Я не лезу только к тем, кого уважаю.

Такая вот уличная патетика.

– Ну и кого мы уважаем? – цеплялась я. Мало кого, отмахивался Джон. Тех, кто лучше, например. Я ерничала: не может быть, неужели они существуют? А Джон – надо отдать ему должное – говорил: конечно, есть. Старался быть справедливым.

Строго говоря, до поры до времени все это – уличные артисты, уличная война – не имело ко мне никакого отношения. Я жила размеренной – уже вполне себе *красивой* – жизнью: манерно шевелила плавниками в своем тихом перламутровом водоеме. Но вот из-за угла снова

поманило что-то авантюрное, что-то живое и дикое, и я, как старый пьяница, сорвалась. Бросилась догонять.

– –

Перламутрово, конечно, все было не сразу. Сначала было детство, дикие Люберцы. Школа. Институт, куда я с таким трудом поступила – и который бросила так легко. Работа. Бессонные ночи в редакциях. И, наконец, Индия, с которой и началась вся чехарда: с одной стороны – путешествия с рюкзаком, ночевки на скамейках, дешевые хостелы и грязные поезда, с другой – все та же работа в глянце, «белая» зарплата, обязанности, приличные друзья, домашние вечеринки с просекко и сыром. Я не могла выбрать: мне хотелось и того, и другого. Или наоборот: и от того, и от другого я рано или поздно уставала. Я то уезжала, то возвращалась. То увольнялась, то снова устраивалась на работу. Некоторое время мне просто сходило это с рук: каждый новый работодатель надеялся на лучшее (и, разумеется, обманывался). Откровенно говоря, надеялась и обманывалась и я: каждый раз все заканчивалось одним и тем же. Примерно через год спокойной жизни я шла к начальству писать заявление (признавалась честно: соскучилась по пампасам). Меня журили, но чаще всего оставляли при редакции в качестве внештатного автора – несмотря на все мои недостатки, писанина моя нравилась. Постепенно, к тому же, я обросла небольшой клиентурой из бизнеса: мне заказывали рекламные статьи, тексты для буклетов и прочую ерунду подобного плана. В сущности, я вела жизнь обычого бродяги-фрилансера, но в России двухтысячных это считалось довольно смелым.

Примерно через полгода бродяжничества я уставала: снова тянуло в комфорт. Когда я отследила этот цикл, то стала предупреждать. Мне прощали, хоть и со скрипом; знали, что я со странностями, но ответственная. Царевна-лягушка такая. Принцесса-бродяжка. Я посмеивалась сама над собой: шутила, что у меня, как у кошки, несколько жизней. Просто я очень жадная: ни от одной не могу отказаться.

Рассказываю – неправдоподобно; сюжет картонный, как в оперетте. Обычно люди хотят чего-то одного: покоя или бури, бюргерства или трубадурства. Но свой случай я бы, скорее, сравнила с двойным гражданством, когда принадлежишь и тем, и этим. Я и не стремилась выбирать: ерзала на двух стульях. Пуститься в авантюры легко, как щелкнуть пальцами, но перестать быть авантюристом уже почти невозможно: не бывает бывших наркоманов. Но и в чинной благопристойной жизни тоже было множество плюсов.

Потом в России началась волна дауншифтинга, и я в каком-то смысле даже перестала выглядеть странной. Многие осмелели настолько, что бросали все, что нажито непосильным трудом, сдавали квартиры, прощались с «офисным рабством» (такой тогда гулял штамп) и тоже рвались в путешествия. В какой-то момент это стало даже модно.

А кто-то оставался тверд духом: стоял на якоре, укреплял тылы.

У первых были свежие фрукты на завтрак, обед и ужин, солнце и море каждый день. Никаких шуб, шапок, капроновых колгот. Где мы, там и дом. У вторых – опера и балет, хорошие автомобили, медицинская страховка. Изящные туфли на каблуках (это у женщин; у мужчин – допустим, сигары). Где родился, там и пригодился.

У первых, пожалуй, было меньше стабильности, но, в целом, потерять работу с одинаковым успехом могли и те, и другие. Болели – и те, и другие. Ворчали и ныли – по самым разным причинам – и те, и другие.

Огорчало вот что: я замечала, что *те и другие* относятся друг к другу с презрением. Любители чинной красивой жизни презирали авантюристов, а те в ответ огрызались: ишь, офисный планктон. Как по мне, сравнивать эти формы жизней было все равно что сравнивать чертеж и сюрреалистическое полотно: в первом случае гармония четких линий, во втором – мешанина

из красок, от которой не отвести глаз. Мне страстно хотелось, чтобы остроконечники и тупоконечники были терпимее друг к другу; порой они просто выводили меня из себя. Весь парадокс ситуации заключался в том, что и те, и другие были жуткими снобами.

Мы иногда обсуждали это с Аселией, когда встречались дома вечерами. В частности – непреодолимую пропасть между нашим с ней мировоззрением и ценностями, господствующими на наших малых родинах: в ее Улан-Удэ, в моем Иркутске.

– Ну что, и вот я им расскажу, как я живу? – возмущалась Аселия. – Какой от них можно ждать реакции? А я тебе отвечу: пожалеть и на костер!

Аселия тоже была моей породы. Спереди посмотришь – эстет. Со спины зайдешь – а там наклейка: «авантюрист».

– –

Я убеждена: все тянется оттуда, из детства. В моем случае – и авантюризм, и тяга к красивой жизни, и желание заглядывать в чужие миры. Детством были Люберцы. Подмосковные Люберцы, город, где тебе нахамят прежде, чем сосчитаешь до трех – ну и что? Не хлопай глазами, не щелкай клювом, просто нахами в ответ, это нормально.

Про Люберцы я помню вот что: этот город никогда не был спокойным, а в перестройку и вовсе слетел с катушек. Город просто стоял вверх дном. Мне кажется, особенно тревожно было в середине девяностых; или, может, с этого момента я просто лучше помню. Помню это время как вечную зиму: мглистую, сырую, с развалами серо-грязного снега и низким тяжелым небом. Рэкет жег продуктовые палатки и взрывал машины. То и дело пропадали без вести местечковые предприниматели; потом их тела обнаруживали в чьих-то багажниках (об этом тихо говорили родители на кухне и громко – по телевизору). С партнерами по бизнесу (как это у них называлось) разбирались жестко: вырезали семьями. От слова «крыша» веяло не уютом, а угрозой. Шутки про паяльник и утюг не были особенно так шутками. Чьи-то гниющие тела находили в затхлых парках. Что-то темное творилось по ночам в гаражах. «Подмосковная столица криминала», «мир воровства и беззакония», «бандитский беспредел» – желтоперые журналисты оттачивали свое красноречие на заголовках. Мама запрещала мне читать газету «Московский комсомолец», но я запиралась в туалете и читала все равно.

Сотни парней в городе или имели отношение к мафии, или мечтали влиться в ее ряды. «Пожары и перестрелки. Угоны автомобилей и взрывы. Аварии и убийства» – передача «Дорожный патруль» была одной из самых популярных в Москве и Подмосковье. В нашей семье с нее начинался день. В сотнях других – тоже.

Рано утром, еще в сумерках, папа усаживался с литровой чашкой чая и щелкал пультом.

– На Волжском бульваре, – без приветствия начинал холодный женский голос. – Произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали два человека…

Я собиралась в школу. Мама расчесывала мне волосы и заплетала косу резинкой: яркой, китайской. Я умывалась, чистила зубы, натягивала колготки.

– Бубубу… – неслось из гостиной. – Найдены останки… Обгоревшие тела… бубубу… Опознание останков… бубубу…

Мама намазывала мне белый бутерброд с маслом и сахаром. Себе наливала кофе.

– Бубубу… Пожар на Инициативной… Скорая… Труп мужчины… Останки под снегом…

Слово «останки» в этой передаче повторялось чаще всего.

– Дед приехал. – Наконец оповещала мама, выглянув в окно. Дедушка каждое утро возил меня в школу на машине. – Беги.

Я выходила из квартиры и попадала в льдистое утро. Там искрился снег, весь в желтых собачьих росчерках, и тарахтела, отфыркиваясь от мороза, круглобокая дедовская «Волга».

Останков не было. И не сказать, что они меня касались: родители сделали все, чтобы вынести меня за рамки этого хаоса. Из школы, которая была у нас под окном, мама забрала меня уже в октябре первого класса и перевела в другую, получше. Там, по крайней мере, не нюхали клей на переменах. Там были бальные танцы и уроки этикета (а также завуч, которая заставляла третьеклассников снимать трусы у доски – но, мне кажется, об этом я маме так и не рассказала). Продолжался мой французский. С уличными детьми мне общаться не давали; никакого насилия, просто очень тонко, очень ненавязчиво взрослые переводили фокус моего внимания на других детей. Поприличней. «Уличный ребенок» – это был приговор. За меня боялись: чего доброго, кто-нибудь научит ее курить или зажмет в углу. А до бандитов мне не было никакого дела: какое отношение они могли иметь ко мне, маленькой девочке?

Но дело было не в них. Дело было в обычных людях: тех, с кем приходилось иметь дело каждый день.

Радиоактивная вибрация, исходившая из закоулков, фон, который излучали гаражи и подвалы, не мог не влиять и на обычных людей. Оттуда все время как будто шел сигнал: мы рядом. Мы близко. Завтра ты встретишь нас на улице. А, может, попадешься нам в подъезде – и даже не успеешь ничего понять. Кроме того – общая неустроенность, увольнения, страх. Мир пропах отчаянием. Никто не знал, что будет завтра. Зарплата? Скажи спасибо, что вообще работаешь. Честный бизнес? Вы смеетесь?

Люберцы были городом пролетарским, простым. Те, кто не был мафией, те пили по-черному. Пили вообще все. Пили одеколон и нюхали клей. Жестокость была и защитой, и нормой жизни. В семьях дрались. Отвешивали оплеухи детям. Дворовая шпана мучила кошек и собак. Помню, как Катька, подружка с шестого этажа, проболталась, что ее брат приманивает на балконе синичек на кусок сала. Вроде, ничего криминального, но, вспомнив восемнадцатилетнего Серегу, хмурого, с нездоровым лицом в оспинах, я почему-то насторожилась. «Зачем? – спросила я. – Он точно над ними не издевается?» Катька замотала головой, а потом созналась: конечно, издевается. Вливает им в горло водку и смотрит, что происходит. Просто весело. Я рыдала в подушку двое суток.

Это было злое время. Жестокость была самым быстрым способом хоть на что-то опереться, хоть на секунду почувствовать себя сильным. А потому правила были простые: после десяти лучше не ходить по темноте. Вот эту стройку обходи даже днем: там кого-то изнасиловали куском арматуры. Здесь кого-то убили: труп нашли в мусорном баке. Прямой долгий взгляд в глаза – это вызов; сама будешь виновата.

Это помню про детство. Так я и жила, глядя вниз.

– –

Тогда, в девяностые, моя семья считалась благополучной. Повыше статусом, чем остальные в доме. За это нас недолюбливали. За это, да еще за то, что родители не хотели пить водку, а вместо этого крутились как сумасшедшие, пытаясь заработать. Чем только они не занимались после того, как рухнул Союз. В СССР все было понятно: дед из партийных, мама – пианистка, папа – архитектор. В перестройку архитекторы и пианистки не стали нужны никому – не говоря уже о партийных. И папа ходил по детским садам и фотографировал на заказ. Рисовал и делал витражи, заодно украсив ими все три окна в нашей трешке: в одной комнате получились морозные узоры, в другой – цветы, в гостиной – плавные ромбы. Окна-витражи. От этого гостиная сделалась похожей то ли на храм, то ли на светелку. Красиво и ничего не видно снаружи, на случай если кто-то из соседнего дома захочет посмотреть в бинокль, нет ли в квартире какого добришка. Такое бывало; после того, как с интервалом в пару недель две квартиры сверху обнесли («Золото, дочке на свадьбу хранила, – рыдала одна из потерпевших. – и шубу уволокли»), родители где-то достали денег и поставили массивную железную дверь. Она так

и осталась в люберецкой квартире памятью о тех временах, вместе с полустершимися контурами витражей.

Мама-пианистка моталась ночными поездами в Польшу и привозила оттуда тюки тряпок: эластичные колготки, импортные лифчики, хлопчатобумажные носки. Все на продажу. Деньги на закупку приходилось возить зашитыми в трусы; в поездах тоже грабили. Заработком нужно было делиться с администрацией рынка и с рэкетом.

– А разве милиция нас не охраняет? – удивлялась я.

– Моя милиция меня бережет: сначала поймает, потом стережет, – мрачно отшучивался дед.

С милицией тоже приходилось делиться.

Потом родители как-то нашли канал в Монголию и стали торговать шапками из песца и ондатры. На полке поселился русско-монгольский разговорник, Ярианы Дэвтэр («Здравствуйте» будет «Сайн байн уу!», а «Предлагаю тост за ваше здоровье!» – это уже посложнее: «Таны эруул иэндийн төлөө хундага оргье!»). Иногда к нам в гости приезжали монголы: луноликая Дина с двумя золотыми зубами и ее смуглый муж, худой, с обветренным лицом, похожий на иллюстрацию из учебника по истории (раздел про кочевников). Они-то и привозили из Монголии шапки, с которыми родители потом стояли на рынке. Весь коридор в квартире был забит коробками; оставался только узенький проход. Все держалось в строжайшем секрете. Мне запрещено было водить в гости друзей и уж тем более рассказывать, чем занимаются мама с папой.

Помню, как по выходным, толоконными зимними днями, когда уже в три часа дня заиндевевшее окно становилось красным от подступающего заката, папа-архитектор, мама-пианистка и дед, партийный начальник, вваливались домой промерзшие до костей, простояв шесть или семь часов на открытом рынке, при минус тридцати.

– Ну как, па? – спрашивала я, выскакивая из комнаты. – Сколько?

– Тебя это почему беспокоит? – сурово спрашивал папа. И шел в ванную греть руки. В это время мама шепотом делилась:

– Четыре женских и две мужских.

«Четыре женских и две мужских» – это было о количестве проданных шапок. И это было еще вполне ничего. Хуже, когда ни одной. Непонятно, чем питаться на неделе.

С едой дела обстояли просто: гречка, картошка, макароны-рожки – одна кастрюля дней на пять. На второй день макароны становились похожи на столярный клей, но их можно было поджарить. Жирные куриные окорочка, напичканные какими-то химикатами. Серые сардельки (я не ем их до сих пор). Колбаса была праздником.

Как я уже сказала, в доме нас не любили. Родителей за стремление выкрутиться. Бабушку – за поджатые губы. Деда – за то, что был когда-то начальником. Меня – так, за компанию. И за новые кроссовки. Интеллигенты вшивые. Строят из себя. Что, лучше других? Так говорили не все, но некоторые; по крайней мере, у меня врагов хватало. С членами примерно трех семейств лучше было не встречаться у лифта.

Помню, как соседский мальчишка – мне, наверное, восемь, ему, наверное, десять – сказал мне что-то гадкое у подъезда. Я в ответ заехала ему ногой туда, куда учили. Парень согнулся и взвыл, я убежала. А на следующий день меня поймали на школьном дворе его сестры-хабалки – одной пятнадцать, другой шестнадцать – и скрутили узлом.

– Ударь ее, Саша! Куда хочешь. – подзуживали они брата. – Она же тебя ударила вчера?

– А Саша долго не мог решиться. Все примеривался.

И таких историй было много. Люберцы, маленький Бронкс подмосковного розлива.

Лет до двадцати я совсем не была бойцом; наоборот, я была очень жалкой. В Люберцах кругом были уличные дети или взрослые, выросшие из уличных детей, и они не были добры ко

мне, нет. Кому-то все эти уличные стычки были как слону дробина. Но я родилась тонкокожей. Мне хватило малого, чтобы понять: большой мир – источник угрозы, и я знала причину: это со мной что-то не так. Со мной что-то изначально, непоправимо и чудовищно не так, и этому нельзя помочь. Это чувство постепенно переползло и на то безопасное пространство, которое заботливо стелили передо мной родители, и, наконец, затянуло собой все небо. Я замкнулась в себе. И отзывчивый мир ответил мне взаимностью: в безопасной солнечной вселенной, населенной детьми из хороших семей, меня просто перестали замечать. Ты ничего не можешь, усмехался мир. Тебя вообще не существует. Кого было за это ненавидеть? В первую очередь – себя.

Тогда я ненавидела себя как никого другого. Это не было легкой формой подростковой застенчивости; нет, это была едкая смесь из тошнотворного отвращения к себе, стыда и неприязни к миру, варившаяся во мне под плотно закрытой крышкой. И это продолжалось очень долго, лет до двадцати, пока я все не перекроила.

Иногда, слушая Джона, а потом, вспоминая революционера и его команду, я думала: если ты кое-что знаешь о жизни на улице, попробуй наоборот. Побудь отличницей в Бронксе.

– –

Джон хлопнул краснолицего самурая по плечу и потянул меня с улицы в прохладную комнатку, напомнившую мне вестибюль провинциальной парикмахерской. Комнатка оказалась театральной кассой. Там, за полукруглой стойкой, скучала мужеподобная девица с густо накрашенными ресницами. Вокруг громоздились пизанские башни из картонных коробок. Фырчал холодильник с кока-колой. Тикали часы.

Увидев Джона, девица заулыбалась и протянула ему два билета на шоу. Он, как коллега и брат по оружию, везде был желанным гостем. Денег с него, конечно, не брали.

Очередная картонная дверь распахнулась, и мы очутились, мне показалось, в глухой черной коробке. Окон не было. Впереди, за рядами черных скамеек, сиял боксерский ринг. Пустой и освещенный софитами, он выглядел как место для жертвоприношений. Сбоку стоял большой динамик на толстой ноге. Мы уселись ждать.

В пустоте и черноте было жутковато и зябко: кондиционер охладил воздух до температуры морга. Меня снова начало клонить в сон. Я поежилась и зевнула, потом еще раз – слаще – но тут сзади раздался топот. Я испуганно обернулась и увидела, что в зал вбежали четверо японцев, разные и одновременно похожие, как грибы из-под одной коряги: три мальчишки и толстушка в очках. Стоило им рассесться в первом ряду, как со всех сторон грянула дикая какофония.

Помнится, в студенческие годы я открыла для себя панк-группу Art Brut; в частности, композицию «My little brother». Звучала она примерно так:

ДЫМЦ! ДЫМЦ! ДЫМЦ! ДЫМЦ! ДЫМЦ! ДЫМЦ! ДЫМЦ!
MY! LITTLE! BROTHER! JUSTDISCOVEREDROCK’N’ROLL!
MY! LITTLE! BROTHER! JUSTDISCOVEREDROCK’N’ROLL!
MY! LITTLE! BROTHER! JUSTDISCOVEREDROCK’N’ROLL!
THERE’S! ANOISE! INHISHEAD!
AND HE’S! OUTOF! CONTROL!

Похоже, сейчас меня настигло что-то из тех дней. Песнь ада, я узнала тебя! Узнала, хоть и слышала впервые. А стоило узнать, как сзади снова затопотали ноги. К рингу бежали артисты. Первым мчалось знакомое чудовище-самурай, за ним – гороподобный японец. Следом бежали

еще двое; у замыкающего под мышкой болтались две ростовые куклы: одна с желтыми, другая с черными волосами.

Я вдруг сообразила, что плакат с анонсом именно этого шоу и украшал жилище Джона.

Артисты выстроились в шеренгу, кукол повернули лицом к залу. Те выглядели отталкивающе: грязные, с длинными полиэтиленовыми колбасами вместо рук и ног, плотно набитыми чем-то вроде паштета. Мне вспомнилась гуманитарная помощь, которую нам, перестроечным школьникам, в начале девяностых присылали из Дании (считалось, что нашей стране надо помогать). Тот паштет был в жестяных цилиндрах: стоило потянуть за колечко, как дно со скрежетом отрывалось, и на тарелку выползала серо-розовая масса. Смотреть на паштетных кукол было неприятно, и я перевела взгляд на большого японца: огромная грудь, бедра-амфоры, а ступни упакованы в крохотные черные ботиночки. Из ботиночек гигант вырастал, как мультяшный джинн из лампы. Может, с ним поступали как с китайскими принцессами – пеленали ступни с детства, чтобы те не росли?

Японец, державший микрофон, дернулся, словно его ударило током, и что-то неистово заорал. Судя по всему, объявлял бой. Я поняла, что надо готовиться к худшему. Может быть, даже прочесть молитву.

– Япошки! – воскликнул Джон и хлопнул себя по коленке. Похоже, он был восхищен. – Но вообще… – он оглянулся и разом помрачнел, – дела не очень. Мы по приглашениям, эти, – (тычок пальцем назад) – тоже свои. Ну, допустим, те даже заплатили. Четверо! Всё! Ну и сколько они в день теряют? Триста, четыреста евро?

– Почему теряют?

Джон начал загибать пальцы. В желто-зеленом свете софитов его лицо тоже стало зловещим; я даже немного отодвинулась.

– В шоу вложились? Вложились. В оборудование? Ага. Плюс аренда. – По моему лицу Джон сообразил, что здесь не все ясно, и добавил: – Театр им не платит. Это они его арендуют, пока идет фестиваль.

Тьма сгущалась.

Рефери пихнул кукол в руки бойцам: самураю досталась желтоволосая, великану – черноволосая. Комментатор юркнул под ограждение ринга и затаился в чернильной тьме позади зрителей. Рефери взметнул руки бойцов в воздух и яростно, брызгая слюной, представил их публике. За моей спиной раздалось улюлюканье. Было очевидно: краснолицее чудовище – фаворит публики, сила добра. Черный великан – зло. Музыка грянула снова.

– То есть это не театр их нанимает, а они снимают себе театрик? – проорала я Джону в ухо. – Теперь им надо отбить аренду и еще заработать, так?

Джон кивнул.

В мире уличных артистов все было как-то очень перевернуто.

На площадке началось невообразимое. Синхронно, как по команде, оба героя швырнули кукол по углам ринга, а сами закружились в танце, похожем на ритуальную пляску туземцев. Выделывая руками и ногами адские коленца, противники орали друг на друга.

– А-а-а! – вопил ниндзя.

– У-о-е-ыыыы! – вторил ему великан.

– Дымц! Дымц! Дымц! Дымц! Дымц! Дымц! Дымц! – неслось из динамика.

Разинутые пасти, вываленные языки, чехарда ног в черных ботиночках и цыплячьих рук в неопреновых налокотниках. Черные штаны, хлопающие по тощим ногам, точно паруса пиратского фрегата по мачтам. Скорлупа из папье-маше на тонкой шее, как блестящая маска смерти. Если и существовала демо-версия преисподней, то это была она.

– Аррррррр!

– У-о-о-ы-аааааа!

Рефери теннисным мячиком подскакивал на месте и тоже верещал.

Человеческая психика несовершенна; никогда не знаешь наверняка, где в ней дыра. Однажды в Индии мы с друзьями наелись грибов: решили узнать, что же это такое. И узнали. Друзьям было весело, они до слез хохотали над тем, что не могут оплатить счет в пляжном кафе, потому что забыли цифры. Я же помню, как легкое опьянение сперва перешло в дрожь, потом в тошноту. А потом я вдруг увидела, как неповоротливый мир осторожно меняет положение в пространстве, словно ему надоело сидеть просто так. Первыми, разминая затекшие плечи, начали оживать горы. Следом пальмы потянули ко мне зазубренные кровожадные листья. Каждый камень смотрел с угрозой. А на небе – на небе вдруг вспыхнул красочный блокбастер про ядерную войну. Краски становились сочней, а в поле зрения возникали существа, место которым в научной фантастике.

– Бэд трип? – донесся издалека чей-то голос. – Бывает, держись.

Потом мне объяснили, что «бэд трип» – «плохое путешествие» – это когда психика дает сбой, и вместо красивого мультфильма ты видишь кошмары. Но тогда – тогда я держалась из последних сил. Слезть с аттракциона, как оказалось, невозможно: не помогают ни алкоголь, ни молитва, ни купание. Шесть часов ты видишь чудовищ. Их я и вспомнила, сидя в темном ледяном зале рядом с Джоном: представление тоже тянуло на психоделический кошмар. В человеческом боксе существует ряд всевозможных «нельзя», «не стоит» и «побойся бога», но японский бокс – нет, японский бокс был не для маменькиных сынков. В японском боксе, очевидно, можно было все. Противники кувыркались через голову, на лету молотя друг друга ногами, головами и локтями куда придется. Куклы летели на канаты: я всякий раз ждала, что полиэтилен лопнет, и в зал брызнет паштетная начинка (тогда я наконец убегу). Тело здоровяка-великана блестело от влаги, как корпус подводной лодки. Мокрые волосы прилипли ко лбу. На груди-равнине красовались царапины – откуда они успели взяться? Я загипнотизированно следила за его маленькими ножками. Я поняла: ступни на самом деле были тоже огромными, как и все остальное, просто ботиночки нашлись только детские, и ступни пришлось неведомым (и наверняка страшным) усилием втиснуть внутрь. Я была теперь в этом совершенно убеждена.

Как бешеная лисица, скакал по рингу самурай.

Болтались, словно в эпилептическом припадке, головы целлофановых кукол.

Музыка гремела.

Раунды кончались и начинались снова.

Сидя в зале, я чувствовала себя жертвой такого бэд трипа, который не снился ни одному героиновому наркоману даже по выслуге лет. Голова раскалывалась, по телу пробегали судороги, в глазах рябило. Меня слегка мутило. Но при этом – смешно – кинуться прочь мне мешали остатки неуместной вежливости. Видя, как выкладываются великан и самурай, я не могла оскорбить их своим исчезновением. Джон был прав в одном: эти парни действительно были настоящими бойцами. Просто их усилия были направлены куда-то не туда.

– Вот поэтому, – ворчал Джон, когда мы вышли на солнце, – поэтому я и не хожу здесь ничего смотреть. Чтобы настроение себе не портить. Надо ж было состряпать такую дрянь! В прошлом году вся история – на раз-раз и готово, так хоть смешно было. Но не сорок же минут! Тебе как?

– Странновато. – уклончиво ответила я. Влажный призрак черного великана, весь в капельках на сияющем торсе, встал перед моими глазами. У меня не повернулся язык обругать его. Он так старался для шести человек.

– Нет, конечно… Они бойцы, – начал смягчаться Джон. – И каждый день теряют деньги, а вкалывают все равно. Вкалывают, вкалывают… С утра до ночи, на полную катушку. С утра промо, потом шоу, и опять промо, и опять шоу, и опять… Можешь себе представить?

Я представила и мне стало дурно.

– Гитлер капут, – сказала я. – Домой хочу. В душ.

– –

Джону суждено было стать тем, кто показал мне мир уличных артистов, и он показывал: как видел сам. Пока мы петляли по улочкам, он втолковывал мне по поводу фестиваля. По его словам выходило, что расчет вовсе не на деньги. Вернее, да, есть и те, кто просто зарабатывает на хлеб: что накидают в шляпу, на то и поужинаешь. Но для многих фестиваль – шанс поймать счастливую звезду, встретить импресарио или продюсера. Многие даже не стремятся заработать. Наоборот, тратят. Здесь как в казино: если повезет, выиграешь больше. Но у этих многих, по словам Джона, получается собачий стыд и халтура, они ничего не умеют и уметь не хотят. Недоучки и лентяи. Таких Джон презирал от души.

– Слушай, но тогда зачем? Столько занятий в жизни, хороших и разных, – недоумевала я, и в ответ получала фырканье:

– Некоторые просто любят выпендриваться. А кто-то считает себя очень талантливым.

Нет, конечно, добавлял Джон, есть те, кто умеет, и, кроме того, правда хочет что-то сказать миру. Что-то существенное, как им кажется. Только таких совсем мало.

Джон так костерил безыдейных дилетантов, что мне уже не терпелось оценить его новый спектакль. Почувствовать, как говорится, разницу. Я привыкла думать, что под людьми, которым «есть, что сказать миру» он имел в виду прежде всего себя; у него этих высказываний был целый мешок. Но потом увидела: нет, не только.

Со слов Джона я также узнала, что фестивальная программа делится на две части. Официальная разворачивалась на главной сцене. Что там происходило, как? Бог знает, мы так до нее и не добрались. Нас интересовала программа «OFF»: неформальная, живая, шанс для всех тех, кто хочет пробиться. Она и пропитала весь город. Правила были просты: хочешь – выступай на улице, можешь – плати за театр и давай спектакли внутри. Театры, театры, театры. Город был нашпигован театрами, но вовсе не теми, к которым я привыкла: никаких колоннад, коней, античных фронтонов. Авиньон был царством микротеатра: дилетантского, камерного. Театральные вывески рифмовались с вывесками прачечных и закусочных, ничуть от них не отличаясь; не везде даже горел неон по вечерам. Актеры, снующие между этими бесконечными театриками, напоминали мне участников школьных капустников. Юбки из шторы, кроссовки, торчащие из-под римских тог. Афиши, нарисованные собственной рукой. Никаких комитетов, правил. Праздник непослушания.

А еще были уличные. Те – другая история. Вольные птицы, голодные и отчаянные, бунтари и сумасшедшие. Каста магов-неприкасаемых; чаще судьба, чем выбор. Уличные артисты, племя дикое: ловкость рук и хищные повадки, одним воздухом дышат, бок о бок спят, на одном языке толкуют. Не с нами – не суйся, а если смелый, давай, покажи. Бродяжья жизнь в цветастой обложке, а внутри все то же: свой закон, своя верность и честь. Колючий мир без завтра: смотри, вот этот восьмой год в пути, спит под мостами, знает птичий язык, а имя свое давно потерял, только слог от него остался. А тот – подальше – видишь его? – ушел из теплого дома, чтобы мотаться по подворотням. А та заигралась как-то на запретной поляне, да так и осталась, навеки одурманенная ползущим туманом. Все смеется и пляшет.

Вот бродячий мим начищает ядовитым золотом свой костюм, а через секунду покроет им же (или чем-то другим?) лицо и руки. Запрыгнет на свой позолоченный чемодан, да так и замрет в странной позе; не дышит, и даже зрачки окаменели. У ног золотая шляпа. Вот японка в клешеных штанишках с рюшами; развлекает публику фокусами. Кто-то ищет места для выступлений: пятачки в переулках или – чего мелочиться – большие площади. А кто-то

и просто встанет посреди улицы, вот как эта неопрятная девица – смотри! – окунула в лохань большую петлю, зачерпнула, дунула, и полетели по улице радужные пузыри. Огромные, как воздушные шары, они летят, сливаясь друг с другом, все удлиняясь, и, наконец, лопаются. Как их всех сюда занесло, ты спроси – историй хватит надолго. Они расскажут тебе. Кого судьба привела, кого – пустая беспечность, затянувшийся полет.

Это ведь тоже было – как в Индии, где мы сидели на берегах и смотрели на лодки, и костры отражались в наших глазах. И мы делились небылицами, но помнили: все здесь друг другу слегка сумасшедшие.

– –

Когда я думаю, чему научила меня Индия, то первым приходит в голову: смотреть в глаза и улыбаться.

К середине нулевых жизнь устаканилась, успокоились Люберцы. Родители больше не смотрели по утрам «Дорожный патруль». «Московский комсомолец» исчез из туалета куда-то сам. Кое-какие из детских привычек, однако, остались при мне. В частности, улыбаться редко и только по поводу: когда кто-то смешно пошутит или на фотографию. Я вроде бы уже помирилась и с собой, и с миром, но все равно была убийственно серьезна. Смех без причины – признак известно чего. Улыбка тоже.

Улыбаться просто так меня научила Индия, страна чудес и родина слонов. И я помню, где это случилось: Индия, северный Гоа, Арамболь. Не на юге штата, среди помоек и дорогих отелей, не в русском Морджиме, не в тихом Ашвеме, принадлежащем всем и никому. Улыбаться меня научили в Арамболе на Мэйн Стрит. На главной улице. Не знаю, может, у нее и есть какое-то название для бумаг, но между собой все ее называют только так: Мэйн Стрит. Километр параллельно океану и еще триста метров вниз, к самому прибою. Улица-магазин, улица-кафе, улица, состоящая из дороги, по обеим сторонам которой – ларьки-соты с начинкой: разноцветным тряпьем, сластями, непальскими пледами, поющими чашами. Тату-салоны, микросупермаркеты. Даже не помню, зачем я туда заехала; скорей всего, просто каталась. В северном Гоа я к тому моменту прожила полтора дня. Ничего еще не соображала.

До этого был месяц на юге, в отеле, куда я прилетела работать после своего водевильного увольнения. Там быстро выяснилось: контора промышляет довольно неопрятным бизнесом. Это называлось «продажа таймшеров»: менеджерам (то есть, как предполагалось, и мне) нужно было заманивать в офис случайных туристов и любым способом заставлять их покупать членство в туристическом клубе. Ежегодно неделя на одном из лучших курортов южного Гоа – ваша! Пожизненно! Обменивайтесь своими неделями с другими участниками клуба и отдыхайте по всему миру! Проще говоря, что-то типа элитной дачки, только бассейн самому чистить не надо. Изначально идея, в общем, была не так уж плоха, но в нашем случае фокус заключался в полном несоответствии предлагаемого действительному; де-факто, клиент получал вовсе не роскошные апартаменты на первой береговой линии, как обещалось, а конуру на задворках. По крайней мере, так я поняла из разговоров. «Презентации» выглядели тоже гнусно. Одуревших от жары клиентов дожимали часа по полтора, и в ход шло все: улыбки, схемы на салфетках, работа с возражениями и прочее психологическое карате. Дела шли так себе, продавцы ходили нервные (работенка та еще: целый день лезешь из кожи вон, а потом оказывается, что клиент – нищеброд), а когда не ходили – торчали в баре и жаловались на жизнь. В доверчивые глаза тех, кто приходил на презентации, я просто не могла смотреть и в итоге месяц просидела в офисе кем-то типа секретарши, заполняла бумажки, только бы не заниматься продажами. Оглушительный дауншифтинг. Хотя слова такого еще не было.

Но Индия уже тогда заворожила меня, лишила воли. Я не могла вернуться (к тому же, это было бы пораженчество). И я предприняла следующий шаг: нашла в интернете ребят, кото-

рые на севере штата занимались сдачей в аренду вилл и поехала к ним знакомиться. Сразу с вещами.

Первое, что потрясло меня в Арамболе – это сияющие лучи прямых взглядов.

Здесь все таращились друг на друга: индийцы, азиаты, белые, йоги, наркоманы, геи. Сначала, по привычке, я смотрела себе под ноги, но все же на один из любопытных взглядов как-то раз ответила своим: московским, бетонным. И тут же – шок – увидела, как лицо незнакомца превращается в одну большую улыбку.

Так я вывела неведомый мне доселе закон: скрещенные взгляды – не приглашение к дуэли, не агрессия. Наоборот: спусковой механизм улыбки.

Медленно, с трудом – ушел месяц, наверное – я начала улыбаться в ответ. А потом даже первой. Мне понравилось играть в эту игру, потому что исход всякого микроматча был непредсказуем: встречный улыбнется? Нахмурится? Испугается? Если русский – испугается наверняка. Русских тогда в Гоа было немного: первые эскаписты кучковались в Морджиме, остальные были туристы-пакетники с юга, учтивые как чугунные утюги – совсем как я поначалу. Улыбнешься – и русский, да, испугается. Иностранец наверняка улыбнется. Если прожил здесь долго – просияет, точно медный таз, да еще крикнет тебе «Эй! Да ты красавица!». И пойдет дальше.

Вернувшись в Москву через полгода (чего только за эти полгода со мной не случилось), я поняла: дома все по-прежнему. Улыбок нет. У меня и у самой случился рецидив мрачности, но все-таки я помню один момент. Зима, полумертвая ночная Сущевка. Сыро, пакостно, безлюдно. И вдруг из-за угла – парень. Идет навстречу, смотрит на меня и улыбается. Рот до ушей. Кому это он? Мне ли? Чего это он? А он нормальный?.. Тогда я нечасто видела на улицах Москвы открытые лица.

Десять секунд движения навстречу друг другу. Холодно смотрю на него, не отводя глаз, он идет на меня. Довольный-довольный.

Поравнялись. Расходимся. И что?

И вдруг я чувствую, как губы расползаются в улыбке.

И я несу ее дальше, навстречу кому-то еще, перекидываю – поймаешь? – кому-то из тех, кто смотрит на меня и пытается угадать: мне ли? знакомы ли? нормальная ли?

Перекидываю улыбку, но уже не вижу, как меняется лицо встречного. И меняется ли.

Тебе. Не знакомы. Нет, не нормальная.

Тогда я поняла: даже в Москве можно отыскать уличные улыбки. В те дни люди передавали их друг другу, как контрабанду, на ходу, не замедляя шага, не обмениваясь ни словом.

Индия, перемоловшая меня в муку и навсегда ставшая точкой отсчета, не раз окунавшая меня в самую темную мистику и в самый цветной сюрреализм, Индия дающая и лишающая. Жаркая земля, горячая земля, зловонная, смрадная и смердящая, благоухающая земля. Убивающая и живородящая, молчаливая и безжалостная, совокупляющаяся, гримасничающая по-обезьяньи, вьющая змеиные узоры, лживая, выжигающая глаза цветом, светом, потом, насилующая и прощающая, обнимающая и любящая, дающая успокоение и, успокоивши, гонящая прочь. Индия дала мне многое, но первое, чему она меня научила – это улыбаться и смотреть в глаза. А потом и смеяться. Смеяться надо всем, что происходит, и, прежде всего, над собой. Индия объяснила: не стоит делать сложное лицо, не так уж много в жизни есть того, над чем нельзя похохотать от души. Конечно, смех не дает ответов на все вопросы, но мне часто думалось, что именно со смеха начинается жизнь. Как-то так я начала ощущать.

– –

Дома я приняла душ; мутная авиньонская водица смыла с меня апокалиптический японский бокс. Джон успел за это время что-то проглотить, у меня аппетит так и не проснулся.

Мы снова вышли на улицу. Авеню де ля Синагог поеживалась в густой тени платанов. Джон махнул рукой влево и гордо произнес:

– Вот моя машина. А вот мой мусорный бак.

Рядом с черной машиной – я не разобрала, какой марки – действительно, стоял мусорный бак на колесиках, большой и черный, как все добро Джона, за исключением сценических трусов (трусы Джон предпочитал цветные). Бак был прикован цепью к железному столбику. «Это моя машина, а это мой бак» («это моя Ло, а это мои лилии»; я вдруг поймала себя на мысли, что мне не так удивителен бак, как машина. Своя машина? У Джона? Ну и дела; а мне казалось, что такое мещанство ему не по нутру).

Джон открыл крышку и занырнул внутрь по пояс. Что-то загремело.

– Джонни, что ты там делаешь? – с легкой тревогой спросила я.

– Какая-то беда с дном. – глухо донеслось изнутри.

Джон вылез из бака, обогнул машину, залез в багажник, достал несколько свертков и переносной динамик. Все это перекочевало в бак. Господи, думала я, сколько же ты отмывал эту помойку? Или не отмывал? С одной стороны, от Джона можно было ожидать чего угодно. С другой стороны, не было человека чистоплотнее, чем он: он даже не мог поцеловать женщину, не вычистив зубы с утра. Он был настоящий француз, наш Джонни Бой.

– Можешь так не смотреть, я его купил. Он новый. – сиропным голосом сказал Джон, с ехидцей глядя на меня. – Поехали.

Не медля, он схватил бак за ручки и покатил по мостовой. Я посеменила следом.

Не сомневаюсь, мы превосходно смотрелись: я, в своей розовой маечке, девчачьих белых балетках и с холщовой сумкой из Петербурга – типичная туристка-отличница – и инфернальный Джон в черных штанах, с голым торсом и горящими пиратскими глазами. Красавица и чудовище, принцесса и хулиган. Мы мчались по кипучей улице, с двух сторон нас обтекал людской поток. Там, где зеваки считали ворон, Джон, как настоящий мусорщик, покрикивал что-то по-французски.

В какой-то момент сзади нас догнал большой автобус с туристами; ему нужно было нас обогнать, но дорога была слишком узкой. Джон ему мешал. Автобус неистово засигналил. Я шарахнулась к тротуару, оглянулась – Джон продолжал бесстрастно катить свой бак.

Автобус просигналил еще. Потом еще. Но Джон был не из пугливых.

– Нашел, куда лезть! Совсем обалдели! – крикнул он мне через толпу. Я, в попытке усовестить его, заорала в ответ:

– Дурак! Отъезжай! Ты правда ему мешаешь!

– Какая разница? – возмутился упрямец. – Он проедет сто метров и снова упрется в спины! Тут везде люди!

Автобус заходился в истерике. Джон продолжал катить свой бак, как герой-первопроходец, как миссионер, как покоритель вселенной. Несомненно, это был вопрос принципа.

– Джон! – вопила я. Мои нервы сдавали.

– На улице всегда идет война! – проревел Джон, и еще поднажал.

Наконец автобус взобрался передними колесами на тротуар, подтянул увесистый зад, рванул вперед и поравнялся с Джоном. Из окна высунулась женщина-водитель. Она что-то заорала по-французски, изливая негодование на голову гадкого мусорщика: ругательства слились в клокочущий зловонный поток (здесь я наконец возблагодарила богов, что не понимаю ни слова). Джон в долгу не остался: тоже разразился многоступенчатой кантатой. Люди оборачивались. Туристы в автобусе расплющили носы об окна: эль шкандаль! Это могло длиться вечно. Но нет: Джон вдруг сдал вбок и двинул в переулок. Сам себе рефери, дитя улиц, пилот первого класса в игре без правил, он воспарил над битвой: решил, что выиграл поединок, и без колебаний его прервал. Я бросилась за ним и в переулке отдышалась.

– Когда я только начинал на улице, меня все ненавидели. – в очередной раз повторил он, уже спокойно: орать среди каменных стен и мусорных баков было ни к чему.

– И что, это повод? – поинтересовалась я.

– А ты представь, – за секунду завелся Джон, – выходишь на улицу, и тебе всякий раз приходится доказывать! Место для тебя никто не держит, так? Значит, всегда будет война. За публику, за площадку. – Джон крутанул бак и облокотился на его ручки, словно оратор на трибуне. – Ты пришел, а кто-то уже выступает, занял твою точку. А ты не ел сутки. И ты ему: окей, сейчас начну, поглядим, чья будет публика. И пошло-поехало!

На крышку трибуны, не испугавшись оратора, вскочила маленькая кошка: пегая, с рыжими подпалинами. В Москве у меня был приятель, бывший бандит. «Человеку войны нужна война, – говорил он. – Если ее нет, он ее себе найдет». По словам Джона выходило: он всегда выступал лучше остальных и никого не уважал, уводил у других публику, лез на рожон, и за это его не любили. Не человек, а вечный огонь. Но откуда дровишки? А очень просто. Ярость, думала я – тоже привычка. Способ пощупать мир.

– –

У Джона была привычка к ярости, а у меня – привычка (или, скорее, пристрастие) совать нос в неизученные формы жизни. Она тоже была родом оттуда, из детства.

Тогда – в девяностые – семья учила меня бояться. В основном, бабушка и дедушка. Не бегай, расквасишь нос. Не разговаривай с мальчишками, обидят. Не суйся на балкон без шапки. Держись подальше от массовых праздников, не гуляй вечерами на школьном дворе, не разговаривай с незнакомцами. Надень кофточку. Сиди дома, общайся с бабушкой, учись получше. Кругом насилуют и убивают, ты на очереди. Почему ты так мало кушаешь? Ты бледненькая, ты невеселенькая. Внучечка. Сплошные уменьшительные, как будто я размером с колибри. Не выходи на улицу, не совершай ошибку.

Пожалуй, мне повезло: слишком густыми и обильными были бабушкины запугивания, в слишком плотный вакуум стремился запаковать меня дед. Все подростки бунтуют, это гормональное. Мне пытались навязать страх – и мой протест выразился в том, что я отказалась бояться опасности, в этом отказе порой доходя до идиотизма. Я стала возвращаться домой по самым темным подворотням и закоулкам, скакать по гаражам и носиться по стройкам. Так делали все, но я – всегда одна и с особым цинизмом. Полюбила пронырывать под пузатыми цистернами товарного поезда, в те секунды, когда он тормозил перед платформой; надо было успеть, пока не тронется снова. Убегать от контролеров. Лазать по крышам. На последних электричках – в которых, по словам бабушки, с маленькими девочками и происходили самые страшные вещи (то есть, *мужчины*) – мне нравилось ездить тоже. Это не было попыткой найти себе приключений. Это была яростная и чистая уверенность: в мире случайностей, в отличие от мира добрых людей, со мной никогда не произойдет ничего дурного. Я пария, а потому неуязвима. В те годы я панически боялась людей, но чувство опасности у меня было сломано напрочь.

Как-то на одной стройке я упала с огрызка стены – подвернулась нога – и я, пролетев метра полтора, приземлилась на спину. Секунд пять я не могла дышать, легкие словно сплющились от удара, а когда вдохнуть все же удалось, и цветной калейдоскоп перестал плясать перед глазами, я увидела, что справа и слева от меня из земли торчат две ржавые арматурины; я между ними, будто в раме; мои кеды воткнуты в небо. Эффектная встреча с богом случайностей: я упала ему на широкий лоб. Приземлилась между его рогов.

– –

Сначала моими параллельными мирами были пустые пространства: подвалы, карьеры, стройки. Их, в отличие от реальности, я могла заселить любыми обитателями. Особенно ценились крыши. Все незапертые крыши были моими: не было большей радости, чем забраться по пожарной лестнице на плоскую лысину какой-нибудь пятиэтажки, и сидеть там неподвижно часами, отковыривая от покрытия куски смолистого гудрона. В моей голове все время крутилось кино: я сочиняла истории, какие может сочинять только бесконечно одинокий ребенок. Привязавшись к случайному сюжету или сну, я могла раскручивать его сутками, что-то добавляя или убавляя по своей воле. Мягко приземляясь через пару часов на ту же крышу, я подползала к краю – осторожно, чтобы снизу не увидели дворники – и швыряла вниз, в ничтожный микромир, кусочки гудрона. Смотрела, как они летят, становясь точками.

На Байкале, куда мы уезжали с родителями на лето, вместо крыш были высокие кедры. Я уходила в тайгу, забиралась по шершавым стволам до самых макушек, и там, где ствол становился опасно тонким, раскачивалась. От этого меня захлестывало чувство тайного всевластия: йухху! Я могу и так!

Второй страстью – и тоже дверью в параллельные миры – было чтение. Пока другие подростки учились курить и целоваться, я запоем читала. Это было от мамы. Это она собирала домашнюю библиотеку, без конца выписывала какие-то книжки (в те времена хорошие серии надо было где-то заказывать заранее, становиться в очередь), приносила маленькие списанные томики из читального зала, где подрабатывала. Я обожала читать: литература, как и беготня по стройкам, выносила меня за рамки реальности. Потная и с ног до головы в грязи, я возвращалась домой и, забыв принять душ, хваталась за книжку. Глотала все, что было: сначала Майн Рида и «Библиотеку приключений», потом Бунина, Чехова, десятитомник в серых обложках, зелено-бархатного Куприна, черного Гоголя. Позже перебрала Уайлдера, Фицджеральда, Набокова, Ивлина Во. Остальных. Всех, кого любила мама. Потом, лет в тринадцать, я совершила литературный дауншифтинг: заинтересовалась любовными романами в мягких обложках.

– Ей не рано? – поджав губы, спросила как-то попутчица в поезде.

– Лучше из книг, чем в подъезде научат. – с ледяной вежливостью ответила мама.

Я была совсем одна, я страдала от своей немоты и ненавидела себя, оказываясь среди людей, но наедине с собой мне никогда не было скучно. В моей голове без конца делились клетки. Я строила миры.

– –

Значительно позже я заметила: параллельные миры существуют, и не только я ими интересуюсь. Тысячи людей ищут их, теряя сон и покой: в светской хронике, в газете «Оракул», в жизни гуманоидов и людей с песьими головами. Где угодно, только не у себя под носом, а ведь, кстати, совершенно зря: стоит слегка скорректировать привычный вектор движения, как сразу встретишь какого-нибудь Джона. Джона-патриота, Джона-режиссера, Джона-мусорщика с его вздорным характером, с его горящими пиратскими глазами. Джон тоже был моим параллельным миром, но одновременно и родным: близким, созвучным. Если бы я хотела чего-то другого, то поселилась бы в приличном отеле: не самом дорогом, понятно, но уж точно с мраморной раковиной и розой в вазе. Распивала бы там чаи по утрам. Но нет. Вместо этого я носилась с Джоном взад и вперед по рю де ля Карретери.

Рю де ля Карретери: если бы я знала, сколько мне еще предстоит прошагать по ней, вверх и вниз, туда и обратно, много километров, и, может, обогнуть земной шар, пройти точку невозврата и забыть многое из того, что думала о себе. А что-то и вспомнить. По рю де ля Карретери до авеню де ля Синагог и обратно на рю де ля Карретери, на рю Карно, на Пляс дэ Пале, и, наконец, на рю де ля Республик, а потом в переулочек напротив Театр де Пари, где и произойдет

все то, что было предопределено, что должно было со мной произойти и просто никак не могло случиться иначе.

– –

Обратный путь к площади мне показался уже знакомым; я начинала запоминать маршрут. Вот дворцовая громада, спрыснутая закатным солнцем, напротив через площадь – взвод платанов. Под ними в тени белеет будочка, похожая на билетный киоск.

– Да там Филипп! – обрадовался Джон. – Пошли, посмотрим.

Возле будочки уже собралась толпа. Часть зрителей, прижавшись боками, точно воробьи, расселись на ступенях между первым и вторым ярусами площади. Остальные расположились на мостовой, посвободней. Пятачок возле будки облюбовали артисты; одни ждали своей очереди, а кто-то уже отстрелялся, остался поглазеть на других. На будке, прилепленный скотчем, висел листок с расписанием: имена артистов и время, наскоро, от руки. Листок пошевеливали вялые вздохи ветра. Я так и не поняла, кто отвечал за этот график. Особое уличное правительство? Бродячий профсоюз?

Джон со своим баком вкатился в кучку коллег. Все обменялись церемонными рукопожатиями, как на встрече совета министров. Кого там только не было: раззолоченный с ног до головы мим, девица с дредами, татуированный до зубов парень в черном кожаном фартуке. Парочка в обнимку: он молодой, она не очень. Еще какие-то люди – и Паоло. Я к ним не пошла. Если сесть там, увидишь одни спины.

Артист – тот, что стоял сейчас на площадке – начал пару минут назад, но уже успел заинтриговать аудиторию. Он напомнил мне героя советских агитплакатов: квадратный подбородок, скулы из гранита. Взгляд как рыболовная сеть: накинул его на зрителей, сразу на всех. А те сидели, разинув рты.

Я вспомнила, я уже видела его: это был тот кочегар-стахановец, с которым поутру беседовал у дворца Джон.

Филипп наметил глазами жертву – полненького очкарика из заднего ряда (тот нарочно встал подальше, но расчет не оправдался) – и поверх голов сидящих, точно поверх пней, затеял с ним диалог. Силы сразу оказались не равны. Очкарик что-то заблеял, но громогласный голос Филиппа перекрывал его в разы; так гудок поезда перекрывает бормотание дачной радиоточки. Филипп хохмил, веселился и что-то выпытывал у несчастного. Тот смущался. Публика начала похохатывать.

Мне вспомнилось, как года три назад, во Вьетнаме – моим странствиям шел девятый месяц – я прибилась к экскурсии в Мисун, к развалинам древнего вьетнамского города. Случай был исключительный: я редко присоединялась к группам, считая это ниже звания авантюриста: что это я буду таскаться, как овца в стаде, за каким-то гидом? Но в Мисун я отправилась с группой. Почему – уже не помню. Но я не пожалела; с гидом мне повезло невероятно. О, какой это был гид! Гений трибуны. Оратор. Я бы даже сказала, предводитель.

Во-первых, он не говорил. Он орал.

– Меня зовут мистер Зю! – гаркнул он, войдя в автобус – Я хочу, чтобы вы это знали! Я работаю гидом уже три года!

Все, кто спал, проснулись. Все, кто был глух, услышали. Все, кто был слеп, прозрели.

Мистеру Зю не нужен был мегафон вроде тех, что обычно используют экскурсоводы. Мегафон у него был вместо трахеи.

Мистер Зю сразу показал, кто в семье главный.

– Когда вы заходили в автобус, я слышал, как кто-то говорит «Майсан». Это неправильно! Вы должны выучить вьетнамский! «Май сан» – это «мой мальчик»! По-английски! А место, куда мы направляемся, называется Мисун. А ну-ка все повторили за мной! Мисун!

Обалдевшие туристы хором, как в детском саду, повторили: «Мисун!»

Следом мистер Зю изложил технику безопасности: по его словам выходило, что кое-где в Мисуне еще остались бомбы, невзорванные со времен второй индокитайской войны, а потому бродить по полям небезопасно.

– Не сходите с тропы в джунгли, – предупредил он. – Сначала пойду я, вы идете за мной. Тогда я умру первым, а вы чуть позже.

В этой тональности прошла вся экскурсия. У каждого памятника мистер Зю устраивал маленькое шоу: размахивал руками, орал, бросал вопросы туристам, сам на них отвечал, шутил, в нужных местах напускал драматизма, в других сбавлял пафос. Аудитория была потрясена, деморализована, очарована. Де-факто, мистер Зю был экскурсоводом, но только здесь, в Авиньоне, я поняла: в душе он был уличным артистом. Филипп вызвал к жизни его дух: в нем был тот же плещущий через край артистизм, та же экспрессия, те же свобода жестов и умение завладеть вниманием публики. Так же хохотали люди. Так же те, с кем Филипп вступал в диалог, оказывались сконфужены, но не могли до конца понять, что не так.

В уличных выступлениях все решает умение удержать зрителя: здесь нет входных билетов и мест, люди циркулируют по площади, как пузырьки в кипящей воде. Никто не будет смотреть шоу из вежливости. Джон утверждал, что существуют честные и запрещенные приемы захвата внимания; про запрещенные он не рассказал, но я заметила: французы делают ставку на интерактив, активно задействуют в шоу зрителей. Не успеешь оглянуться, как стоишь посреди площадки с лицом орангутанга, а над тобой все потешаются. Такая игра: всегда приятно поглумиться над каким-нибудь бедолагой, главное, чтоб этим бедолагой не оказался ты сам. Кто побойчее, остается в первых рядах, кто попугливей, наблюдает за шоу из укрытия. Поэтому, делился Джон, нужно уметь мгновенно прочесть зрителей: понять, к кому из них можно прицепиться – получится смешно – а кого лучше оставить в покое; увидеть, кому скучно, кого надо взбодрить. У уличных чутье на это дело. Инстинкт.

– Сейчас мы будем снимать кино! У меня есть гениальный сценарий! – гаркнул Филипп и щелкнул режиссерской хлопушкой. Новой мишенью стал тощий парень в наглаженной рубашке. Похоже, швед.

– По-французски говоришь? – (Тот отрицательно замотал головой.) – Говоришь! Отлично! Будешь моим ассистентом. – (Хлопушка перекочевала в руки блондина) – Так! Есть кто из Италии? Мне нужна итальянка! Ты? Я же вижу! – Полногрудая кучерявая брюнетка испуганно вспорхнула из первого ряда. Под хихиканье подружек пришлось сознаться: да, итальянка.

– Как, всего одна итальянка?! Больше нет? Ну все равно повезло: красивая! Как зовут? Лаура? Поздравляю, Лаура! Ты – главная героиня! Стой здесь! Руками так не маши!

Филипп был, конечно, тиран. Он вел себя с зеваками по-свойски, без церемоний; я – звезда, вы – статисты. Никто из зрителей не зевал, не копался в рюкзаке, не набирал сообщений. Все сидели в легком напряжении и как будто слегка под гипнозом. («Только не меня, только не меня!» – как в школе» – подумала я). Следом в актеры были завербованы плечистый бородач и недотепа-британец в очках и с пивным брюшком. Суть сценария заключалась в следующем: недотепа влюблен в итальянку и спешит на свидание с букетом наперевес, даже не подозревая о том, что красотку уже соблазнил байкер-бородач. Вот-вот она умчится с ним в губительную темноту ночи.

Филипп умело командовал парадом; попотеть артистов он заставил. Широкими шагами скакал по площадке очкарик-британец. Плотоядно ухмылялся байкер. Щелкал хлопушкой тощий швед. Итальянка, краснея до ушей, послушно принимала зазывные позы. Филипп кривлялся, корчил рожи. Объявлял второй, третий и пятый дубль. Раздухарившись, заставил итальянку прыгнуть на спину байкеру. Тут же ее согнал и запрыгнул вместо нее сам, пришпоривая байкера пятками. Соскочил. Переключился на толстячка. Публика веселилась.

Распуская актеров после съемок, Филипп сдержанно пожал руки мужчинам, а итальянкой злоупотребил: бросился ее целовать, сначала в щеки, а потом все ниже и ниже, пока та, уже совсем пунцовая, не вырвалась и не сбежала под гогот публики.

– Спасибо, дамы и господа! – воскликнул артист и с этими словами раскрыл мужской черный зонт, перевернул его корабликом и застыл на месте (подходите сами, друзья, бегать по кругу со шляпой звезде не пристало). Я, не зная, какой гонорар считать достойным, бросила в зонт десятку – много, но мельче у меня не было – и глянула внутрь: на черной парусине лежали монетки по евро и по два. Филипп на меня даже не взглянул.

– О! – изрек он куда-то в небо, – Богатые русские!

Похоже, Джон уже насвистел ему утром о московской подружке.

– –

Жара спала, тени удлинились. Джон потащил меня к фонтану под церковью Нотр-дам-дэ-Дом. Фонтан – грузный, с тремя чашами – напоминал трехъярусную вазу для фруктов. Воды в нем не было; на дне валялись бумажки и несколько пластиковых бутылок. Над фонтаном нависала смотровая площадка с парапетом. Самые смелые забирались на него с ногами.

– Пойду туда, Джонни, – сказала я. – Оттуда тебя можно будет красиво поснимать.

Джон снова пропадал в баке: то ли что-то искал, то ли инспектировал дно. «Окей!» – пробубнил он оттуда.

– «Оукей!» – поддразнила его я по-русски. – Раздался голос из помойки.

Фраза-граната из перестроечного детства, универсальное оружие против любой оскорбительной реплики. Вот ты бежишь на перемене по коридору, щеки пунцовые, волосы лезут в рот, колготки-лапша сползли к коленкам, вот-вот случится непоправимое – грохнешься! – а за тобой мчит Петров:

– Мара – рожа из кошмара!

А ты ему через плечо, не переводя духа:

– Раздался голос из помойки!

И еще поднажмешь. Потому что туалет для девочек – он уже в двух прыжках, а туда не сунется ни один Петров. Добежать, а там уж отсидеться, дождаться звонка на урок.

В перестроечном детстве главное было – не мямлить и не щелкать клювом; слабаков не любили. Если подумать, в нем вообще все было предельно странно. Помню, как в том же третьем классе – ведь это был третий? и, значит, девяносто третий год? – нас, любителей коридорного спринта, изловила завуч. Мы топотали по лестницам во время урока: математичка опаздывала, а просто так сидеть в душном классе с алыми капроновыми шторами на окнах под силу не каждому. Ведь так светило солнце! От радости кто-то всадил в спину соседа шариковую ручку, тот ответил тычком – и полетели стулья, раздался визг, распахнулась дверь и черно-сине-коричневая (тогда школьники еще носили форму) шаровая молния покатилась по лестнице.

Нас поймали и всем гуртом привели назад в класс. Выстроили шеренгой у доски.

– Как вам не стыдно. – сказала завуч. Губы у нее были как проволока. – Бессовестные.

Мы молчали. Ветка ели за окном качнулась: на нее приземлилась толстенькая птичка.

– Бессовестные твари. – брезгливо повторила завуч. – — А ну-ка развернулись все лицом к доске.

Мы развернулись. Доска была в меловых разводах. Ребрами я уперлась в полочку, где обычно лежали тряпка и мел. В этот раз их почему-то не было.

– А тепеееееерь, – сказала завуч протяжно. – Мальчики спускают штаны, девочки поднимают юбки. И все дружно снимают трусы. Все, кто сейчас бегал.

Птичка, досадливо крякнув, снялась с ветки и улетела из мира абсурда.

– И так стоят перед всем классом ровно минуту.

Если свести оба зрачка как можно ближе, можно представить, что у тебя один глаз. Незадолго до этого я узнала слово «циклоп» и вот уже несколько дней пыталась почувствовать, как это: жить с одним глазом вместо двух. Неудобно или так, ничего?

– Оглохли? Бегать, значит, вы смелые.

Я сморгнула, скосила взгляд на Смирнова, который стоял слева: будет снимать штаны или нет? У Смирнова дрожали губы. Мне почти удалось добиться одноглазого эффекта, но возникла другая проблема: теперь выходило, что у меня два носа. Причем они срастались книзу, а единственный глаз попадал в ложбинку между ними.

– Вы русский язык понимаете?

Не хотела я понимать русский язык. Было занятие и поинтересней.

– Пронин, ты же быстрее всех бежал? – голос завуча скрежетал издевательски. – А ну давай. А то пойдем папе звонить.

Папа у Пронина был суровый, бывший геолог. Он жестко пил по выходным и исповедовал культ ремня. И Пронин сдался. А вслед за ним сдались и все остальные, по цепочке, пока не дошла очередь и до меня. Ветерок из окна холодил голую попу, которая не привыкла вот так запросто оказываться у всех на виду.

Два носа – это вообще никуда не годится.

Если бы я прочла о чем-то подобном в книге, я бы решила, что автор исписался и сочинил какой-то низкосортный бред. Но этот случай действительно имел место в моем третьем классе. И это, в общем, было еще ничего; по крайней мере, на нас никто не орал матом, в нас никто не кидался классным журналом, как бывало в других школах. Этот эпизод не оставил во мне ничего, кроме недоумения. Что заставило взрослую женщину выбрать такую сюрреалистическую форму наказания? Зачем трусы? Почему трусы? В чем здесь была логика?..

Протащив по школьным коридорам, ностальгическая волна снова вышвырнула меня под собор Нотр-Дам-дэ-Дом. Я выплюнула изо рта острые кости детских воспоминаний, из ушей хлынула вода —

– … и назад! – услышала я конец чревовещания из бака.

– Да вылези уже оттуда! – рассердилась я. – Я тебя не слышу.

Джон вылез, хлопнул крышкой:

– Видишь тех? – Его палец ткнул в двоих мальчишек метрах в двадцати от нас. Один куковал, сидя на скейте. Второй, нахмурясь, завязывал шнурки. – Я начинаю в девять, а они передо мной. Не пропусти их: я работал с ними два года, был в команде. Они дико крутые. Начинали как я, с нуля, а теперь тут, на телевидении, звезды.

Я присмотрелась к дико крутым. Один африканец, второй – вообще какая-то гремучая смесь. То ли рэперы, то танцоры брейкданса. Знаю я тебя, дружочек, подумала я. Хит-параду Джона уже не было веры: воспоминания о японском боксе еще жили в моей душе. Да и мальчишки казались слишком юными, если не сказать маленькими. Черные штаны, черные майки в обтяг, на руках пластиковые браслеты. Хмурые лица: то ли не выспались, то ли жизненная позиция. Ничего нового, подумала я. Эти рэперы уже рождаются в широких штанах и с печатью черной меланхолии на лице. Жизнерадостного ни одного не встречала.

– –

Я взбежала по лестнице и забралась на парапет над фонтаном. Мое королевство простиралось подо мной. По левую руку, там, где недавно дирижировал толпой Филипп, теперь обосновался другой: то ли новичок, то ли просто неудачник. У него не получалось. Он жонглировал прозрачными шарами, но выходило скучно: скованные движения, детские трюки. Шары то

и дело падали. Людской поток обтекал бедолагу, как струя воды, встретившая на пути какое-то ничтожное препятствие: дощечку или камень. Посмеивалось из-за деревьев раздобревшее прощальное солнце.

На втором ярусе площади, немного дальше от фонтана, началось другое шоу. Здесь и оставались случайные прохожие: раскрывали рты и опускались на мостовую, не глядя под ноги. Под глубокую, щемящую мелодию – что-то испанское или португальское – в огромном обруче кружился тонкий юноша. Кольцо было словно описано вокруг его тела; он упирался в него ладонями и ступнями и медленно, гипнотически вращался в нем, покрывая сложным узором движения большую площадку. Он напоминал витрувианского человека Леонардо. Только совсем юного. Еще подростка.

Из чего же было сделано это кольцо? Я никак не могла разобрать.

Артист то выгибался, едва не выпадая из обруча, то снова сливался с ним в единое целое. Это было не соло, нет: это был полноценный дуэт. Юноша вел танец, направляя кольцо движениями тела – но казалось, что и гигантское кольцо танцует свою партию. Артист падал на одно колено, и кольцо вилось вокруг него змеей.

Плыла над площадью печальная, щемящая мелодия.

Справа, слева, спереди, сзади – ряды затихших зрителей стали рамой для этой нежной короткометражки. Я затаила дыхание: это зрелище было достойно восхищения, достойно молчания. Это было искусство.

Но вот музыка стихла. Юноша припал на колено, и обруч плавно, как кошка, скользнул к его ногам. Секунда – и зрители яростно зааплодировали, а следом струйкой потянулись к танцору: опустить в шляпу монетку, перекинуться парой слов, даже обнять от полноты чувств. Я пожалела, что сижу так далеко, и это короткое слово – «далеко» – вдруг вернуло меня к реальности. Я осознала, что, действительно, где-то сижу: вокруг меня все то же осязаемое сущее. Лестница. Собор. Христос. Трамвайчик, фестиваль, плакаты. Рю де ля Карретери. Авеню де ля Синагог. Разреженные молекулы мира снова стягивались в цельное полотно, реальность сделалась плотной. Я глянула вниз – под фонтаном уже кипела жизнь. Там обосновались участники команды, которую так рекламировал Джон. Сам он тоже был среди них. Разминался.

Парней прибавилось. Теперь их было человек шесть или семь. Задиристые и непокорные лица: азиат, африканец, пара белых. Прямо подо мной маячил бритый затылок темнокожего мальчишки, сияющий и круглый. Запястье перечеркнуто синим браслетом, на втором целая гроздь таких же, разноцветных. Рядом – его товарищ с голым торсом. Скульптурные мускулы, позолоченные сусальным вечерним солнцем. Уткнулся в телефон. А вот еще один, сторожит авоську на колесиках. Крепкий, ладный, и, как и все остальные, тоже весь в черном. На голове непослушный ежик. Все в нем хорошо, только штанишки коротковаты.

Я вытащила из сумки айфон и прищурилась; не сказать, что ценный кадр, но этот интернационал мне чем-то вдруг приглянулся. В конце концов, после неладно скроенных японских борцов полюбоваться на земных спортивных мальчишек было просто приятно.

В эту секунду парень с ежиком вдруг задрал голову и глянул мне прямо в глаза.

Черт!

Когда в тебя летит копье, ты просто не успеваешь увернуться.

Этот молниеносный взгляд, железный и тяжелый, чуть не сбросил меня с парапета. На миг я ощутила себя так, будто парень застиг меня за чем-то скверным. Или просто застиг врасплох. И прежде, чем я успела подумать

прежде, чем успела предпринять что-то сознательно

в этот взгляд незнакомого парня

я выстрелила большой улыбкой.

И вдруг увидела нас со стороны: собор, Христа, саму себя, угнездившуюся на парапете, парня, внезапно посмотревшего чуть выше своего носа. Наши трассирующие взгляды и свою широкую, ясную улыбку во все небо. Ну что же, достойно. Если отвечаешь на резкий взгляд инстинктивной улыбкой – значит, не так уж плохи твои дела.

Продолжая сиять, я опустила камеру, а парень – тот вдруг улыбнулся тоже, открыто и светло. И мгновенно забыл обо мне. Отвернулся и заорал по-французски своему товарищу по команде, крепышу с голым торсом – но тот на него не смотрел. Упершись рукой в мостовую, словно прикованный к ней цветным наручником, он таращился пустым взглядом на фонтан. Но думал о чем-то своем.

Парень с ежиком подошел к мечтателю, нагнулся и пихнул его в плечо.

С тех пор я помню этот кадр и вряд ли забуду, ведь его я считаю началом. Человек шесть или семь. Их глазированные солнцем тела, их плавные траектории, их скольжение по распростертому телу площади. Их вещи. Вот чемодан, а вот авоська. Вот скейт, а вот ведро. Где-то здесь – трудное детство, а где-то вместо детства и вовсе прочерк. А вот долгие часы тренировок, потому что иначе никак. Где-то здесь еще многое, о чем я не успела узнать – а мне бы так хотелось.

Иссохший фонтан, площадь, Джон, разбирающий свой скарб.

Синяк у меня на лодыжке. Моя холщовая сумка. Моя ладонь, мой безымянный палец с серебряным кольцом из Каира. Бастет, Исида, Маат.

Прозрачное вечернее небо в молочной ряске облаков. Темнеющие кроны платанов. Кафе, очажки беззвучной суеты.

Мое королевство.

Мой фатум.

Моя улыбка случайному парню из бойзбенда.

– –

Суета подо мной усилилась: минут через пять, похоже, должны были начать. Зазмеились провода. Появился вездесущий черный динамик на большой ноге. Спортивные парни мигом замусорили пространство у фонтана: рюкзаки, сумки, тряпки. Четыре скейтборда (один – с нелепым леопардовым раскрасом). Два самоката. Ярко-розовое ведро. Две надувных бейсбольных биты (розовых тоже). Чудной девчачий чемодан, бело-розовый, с котиком в розовых очках. С таким чемоданом могла бы путешествовать японская школьница. Может, она тоже в команде? Приглашенной звездой?

Где-то пробили часы.

К динамику бросилась темноволосая девочка и принялась прилаживать к нему большой плакат (Les Echos-Liés – разобрала я буквы, и тут же забыла, что прочла. Незапоминаемо и непонятно). Плакат падал. Девочка злилась. Может, ее был чемодан с котиком? Я скатилась с парапета и сбежала по ступенькам на площадь.

Перед фонтаном уже собирался народ. У крепостной стены все еще разминался Джон; он скользнул по мне неузнающим, немигающим взглядом и снова ушел в себя, как глубоководная рыба. В пестрой компании зрителей, сидящих на мостовой, я увидела Паоло: копаясь в рюкзаке, тот что-то бормотал себе под нос. Я подкралась сзади; пальцы станцевали тарантеллу на его звездных лопатках. Паоло вздернул голову, улыбнулся и приглашающе похлопал рукой по камням рядом с собой. И я вдруг обрадовалась: как же хорошо. Хорошо, когда еще суток в городе не прошло, а уже появился кто-то свой, к кому можно вот так запросто подойти сзади, побарабанить пальцами по спине, а он в ответ подвинется, позовет тебя сесть рядом. Как будто это делает город родным. Да и ты в нем как будто уже своя.

– Вон тот, – Паоло ткнул подбородком куда-то влево, – был, кстати, тренером Джона. Говорил он тебе? – Я прищурилась, выискивая глазами *того*:

– Ну-ка, ну-ка, – («тренер» – это звучит гордо) – Где?

– Да вон. В голубой майке.

В самом деле, среди однородной массы черно-мускулистых парней мерцало как блуждающий огонек бирюзовое пятно. Я пригляделась. Если на кого *том* и был похож, то точно не на тренера; скорей уж на охламона-второгодника со школьного двора. Молодой парень в бирюзовой маечке, мятой, будто мама погладить забыла, зато с веселеньким принтом: зазубренным кругом, внутри которого сидело хтоническое чудище. Высокий. В татуировках с ног до головы (на левой руке красивая: спиральная в четыре оборота, то ли надпись, то ли узор). Велосипедные перчатки. Черная бандана. Лицо озабоченное. Только что шептал что-то на ухо темноволосой девочке насчет поединка с плакатом – а вот уже распутывает разбросанные на земле провода. Бросает беглый взгляд на телефон и снова кладет его в карман. Хлопает по плечу африканского юнца. С кем-то спорит на ходу. Пихает ногой скейт. Не остановится ни на секунду: у него куча дел, все время куда-то ему надо.

Остальные выглядели посолидней главаря и одеты были по форме: черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные борцовки с белыми буквами на спинах. YOU CAN, прочла я, и, прищурившись, разобрала буквы помельче: «with positive energy». «Les Echos-Liés. Unclassified», было написано на груди. Цветовое единство нарушал только тренер-охламон. Он мелькал между своими черно-белыми парнями как сказочное бирюзовое животное за стволами деревьев. Я задумалась: вот будь я тренером бойзбенда – я бы как, нарядилась как все? Или все-таки нацепила бы что-нибудь голубенькое с чудовищем, чтобы все сразу поняли, кто здесь самый умный и самый красивый?

– Ириску будешь? – Паоло ткнул мне под нос цветной пакетик. – А то я съем. Последняя.

Рядом присели, неловко подгибая ноги, две немки: одна рыжая, постарше, вторая помоложе и постройнее. Та, что постарше, вцепилась зубами в вонючий мясной бутерброд. Младшая посмотрела на это дело с отвращением. Со стороны другой, – тянулась внутри меня ленивая мысль, потому что глаз все цеплялся за бирюзовое пятно как за репейник, – тренер ведь не обязан выступать сам. Может, он просто худрук? Ставит номера, следит за успеваемостью и вытирает своим черным парням носы. Если так, ходи ты в чем угодно, хоть в пижаме…

Я смирилась, брейкданс так брейкданс: все равно время до шоу Джона нужно как-то убить. Лишь бы обошлось без японского бокса.

– –

В некоторых историях магия начинается без увертюры: она просто возникает из ниоткуда, точно кто-то дернул рубильник. Мгновенное включение. Может, дело было в музыке? Музыка, которая потянулась из динамика, заволокла площадь, окутала людей плотным туманом. Суровые мужские голоса, качающий глухой ритм. У меня по коже побежали мурашки; больше всего это было похоже на какой-то африканский гипнотический рэп. Песнь улиц. Заклинание подземных переходов и железнодорожных мостов.

Это было очень странно, прямо сразу. Это совсем не было похоже на начало какого-то шоу и уж тем более не вязалось с брейкдансом.

Черно-белые парни вместе со своим бирюзовым фронтменом выстроились в две шеренги друг напротив друга и в такт суровой музыке принялись разминаться. В такт этой суровой музыке они покачивали головами, тянулись, приседали. Отжимались. И странность нарастала: все, что они делали, было предельно серьезно. Сосредоточенные лица, отсутствующие взгляды. Они были похожи на воинов, которые совершают ритуал перед битвой. Команда взрослых мужчин в черном и еще один в бирюзовом. И музыка. Полурэп-полувуду.

Это было чертовски странно. Это было совсем не то, чего ожидаешь от уличного шоу. Ты ожидал, что тебя развлекут или удивят. Ты совсем не был готов к тому, что окажешься на богослужении.

Это было так странно, что меня пробрало до костей.

И тут же африканские гипнотизирующие ритмы иссякли.

В тот же миг парни ринулись друг к другу и в два прыжка сомкнулись в круг. Разом нагнулись внутрь – так, будто увидели под ногами что-то маленькое – замерли на секунду, а потом —

– Energie positive!!!! – заорали хором, так громко и жизнерадостно, что я подскочила.

Вот тебе и раз! Я снова почувствовала себя сбитой с толку. С воинами, готовившимися к битве, веселый растаманский слоган никак не вязался – но и воинов на сцене и в помине не было; парни опять превратились в брейкданс-команду, только совершенно мультяшную: улыбки до ушей, глаза блестят. Неформалы в стиле Диснея.

На площадке явно намечалась какая-то интрига.

Надо же, подумала я. Energie positive. Тоже ведь… заклинание. Только жизнерадостное. Ничего общего с суровой молитвой.

Фронтмен странного военно-танцевального ансамбля шагнул вперед и сверкнул улыбкой. Типаж, пожалуй, такой: герой-хулиган из подросткового сериала. Постеры с такими парнями шестнадцатилетки расклеивают по стене напротив кровати. Все в самый раз, а то и слишком: высокий, скульптурный, самоуверенная улыбка, сияющие глаза. И такой бодрый! А чтобы образ не получился уж слишком приторным – мятая майка, бандана, велосипедные перчатки. И штампики татуировок на руках.

Он напомнил мне Эла, моего старинного приятеля-байкера, который когда-то был в меня влюблен. Тот был такой же лучезарный; даже черты лица показались похожими. Я рассмеялась этой мысли. Молодец, парень, подумала я с симпатией и внезапной теплотой. Очень уж ты славный, и наверняка нравишься девочкам. И наверняка это знаешь. Вряд ли мы бы с тобой поговорили о чем-то важном, а вот похохотать вместе наверняка бы смогли отменно.

Что поделать, тогда я увидела его именно таким: сериальным красавчиком в хулиганском амплуа, обаятельным оболтусом в бирюзовой маечке и с очень предсказуемым лицом. Но сейчас – сейчас я помню три разных твои лица, революционер.

В день, когда я записываю все, что пришло ко мне, ты где-то спасаешь мир, а я сижу в туманном Риме на обломках империи, в писательском доме с высоченными потолками, медными дверными ручками и оконными ставнями в стиле Сайлент Хилла. Сижу на окне, глядящем в цветущий сад, куда мне не велено ходить, и на облезлые стены позеленевшего римского дворика-колодца. В васильковом платье. С чашкой кофе, купленного под вечер у индусов. И ночью, когда над Римом полыхает гроза, и струи дождя захлестывают виа Карло Альберто —

я помню три разных твоих лица.

– –

Бирюзовый окинул взглядом публику.

– Добрый вечер всем! – радостно крикнул он в микрофон, мушкой прилипший к щеке, и приложил ладонь горсткой к уху, ожидая ответа. Из жидкой тишины позади меня раздались отдельные приветственные крики. Разрозненные залпы, никак не напоминавшие салют.

Вот тебе и раз!

У парня изменилось лицо: улыбка убежала с него, как убегает в водосток струйка воды. «Нет, ребята, так дело не пойдет», – было написано на нем. У остальных участников бойзбенда физиономии сделались такими же.

А чего они хотели? Чтобы все заорали как на стадионе?

Но бирюзовый не сдался. Он проговорил что-то в микрофон – уже слишком быстро, чтобы мне понять его французский – и вдруг снова просиял. И снова крикнул, еще веселее, чем прежде:

– Добрый вечер всем!

Черно-белые парни поддержали предводителя счастливым воплем. И публика, поняв, что от приветствия не отвертеться, взревела в ответ. Это хоровое приветствие прозвучало уже совсем иначе: так, словно весь этот мир, с которым поздоровался лучезарный парень в ореоле закатного авиньонского солнца, долго и хорошо репетировал. Как на стадионе.

Бирюзовый остался доволен: он ухмыльнулся и продолжил говорить. Голос у него был довольно приятный. Я навострила уши: на удивление, из его слов мне удавалось понимать значительно больше, чем из слов Филиппа или Люсьена. То ли у него было получше с дикцией, то ли французский начал ко мне возвращаться.

– Итак! – заявил бирюзовый. – Нас зовут Лезэко…

– … ЛЬЕ! – прогремели парни.

– И мы вам сегодня покажем коротенький…

– СПЕКТАКЛЬ!

– Представляю вам участников нашей команды. – Палец бирюзового стремительно пересчитал всех, кто выстроился позади. – Локо, Анти, Тома – (имена остальных я не запомнила) – и я… Кристина!

Представившись Кристиной, бирюзовый слегка согнулся в дурашливом поклоне. Публика прыснула. Шутник продолжил:

– Перед тем, как начать наш спектакль, я должен объяснить вам правила. Правило первое!

– ПЕРВОЕ! – поддержали парни. На их физиономиях сияло неподдельное счастье, не вполне соответствовавшее моменту.

– Друзья, если во время спектакля вам нравится то, что вы видите или слышите – вы аплодируете! Договорились?

Зрители мелко и часто закивали, как взвод китайских болванчиков.

– Отлично! Дальше! Если вам не нравится то, что вы видите или слышите – вы… – (Театральная пауза.) – Вы все равно аплодируете!

Бутербродная немка по соседству со мной приподняла рыжую бровь.

– Почему? – подхватил ее незаданный вопрос бирюзовый. – Да потому, что главное, чем мы с вами делимся во время спектакля – это энергия! А что в этом самое важное? Обмен! И если вот лично вы, – (бирюзовый ткнул пальцем в одного из зрителей) – нам ее возвращаете, то у нас все получается очень красиво! А если вы жадничаете, то энергия уходит воооон, – (тут он пощекотал пальцем небосвод) – туда! – И подытожил:

– Короче, если спектакль провалится, то только из-за вас.

И тут же подмигнул, как бы объясняя: это была шутка, приятель. Ничего у нас никуда не провалится.

– … Правило второе!

– ВТОРОЕ! – гаркнул задний фланг.

– Первые ряды – лучше присядьте, потому что спектакль длинный. Стоящие сзади будут четыре с половиной часа сверлить вам взглядом затылок! Вам не понравится! Пррррравило третье! («ТРЕТЬЕ!» – рявкнуло черно-интернациональное эхо). Зону сцены мы сейчас отгородим веревкой. Прошу не переступать границу. И… начали!

Бирюзовый махнул кому-то рукой, и черный динамик выплеснул на площадку задорный девичий поп. Двое парней промчались перед публикой едва ли не вприсядку, раскидывая красный канат. Это было проделано очень энергично: зрители поотдергивали ноги так, словно перед ними бросили бикфордов шнур. А дальше началось какое-то непотребство: с кокет-

ливыми улыбками, бесстыдно виляя задом, парни пустились во фривольный танец, похожий на выступление школьниц-чирлидеров. В этом амплуа, на удивление, они выглядели весьма органично. Примерно как Джон, исполняющий свой стриптиз в мини-юбке со стразами.

Публика страшно обрадовалась, но продолжалось это безобразие недолго. В разгар разгульного танца бирюзовый вдруг отрезвел, точно осознал, что происходит, как это все смотрится со стороны. Его лицо окаменело. Так выглядит человек, обнаруживший, что пришел на автобусную остановку без штанов.

– Нет-нет, – сурово сказал он. – Считайте, что этого не было.

На сцене словно разом заменили и задник, и актеров. Парни мгновенно приняли человеческий облик. Музыка зазвучала другая: бодрый хип-хоп. Ребята, по очереди выпрыгивая в центр площадки, начали демонстрировать трюки. Один, стоя на одной руке, вертел в воздухе ногами со скоростью пропеллера, другой крутился на голове, третий исполнял двойное сальто. У некоторых костей, казалось, не было вовсе: змеиная пластика. Все это и в самом деле напоминало брейкданс, с одной только разницей: в отличие от мрачноватых танцоров брейкданса, к которым привыкла я, каждый из этих парней сиял как медный таз.

Эти ребята создали вокруг себя магнитное поле: за пару первых минут шоу людей прибавилось вдвое, и зрители продолжали прибывать. Те, кому не досталось места на мостовой, гроздьями висли на парапетах собора Нотр-Дам-де-Дом. Спектакль состоял из маленьких скетчей на стыке театра, сложной акробатики и танца, и довольно быстро выяснилось главное: спортивные герои в брутальной черной форме не боялись ломать комедию. Они паясничали, корчили дурацкие рожи, обменивались шуточками (судя по взрывам хохота за моей спиной – удачными). Бирюзовый то и дело лупил своих подопечных надувной розовой битой – те, как кегли, валились на мостовую, но тут же вскакивали, гримасничали, выделывая очередные физкультурно-танцевальные коленца. Во всем этом действе было много иронии, но ни капли заискивания перед зрителем; это меня и подкупило. Парни как будто не стремились никого развлечь: в первую очередь развлекались сами, а заодно приглашали посмеяться зрителей, раз уж все они здесь оказались. Вот, как это выглядело.

С моим парализованным французским из текста я понимала процентов двадцать, но это не имело значения. Фокус, очевидно, был в том, что каждый из парней по-честному выворачивал карманы, отдавая зрителям все, что было за душой, радужными волнами нагоняя на толпу ту самую позитивную энергию. Не врал ни один – и в этом была магия. Площадка перед собором Нотр-Дам-дэ-Дом искрилась и потрескивала, окутанная общим электричеством; могу спорить, в тот момент ее было видно из космоса. Пронизывающие волны абсолютного счастья. Вдохновение. Азарт. Новорожденное единство всех на свете: черно-цветных парней и зрителей, воды и воздуха, платанов и трамвайчика. Христа и Будды. Слепых и зрячих, злых и добрых, прощенных и преданных.

Потом я думала (потом я вообще много думала – а что мне оставалось?): будь я чуть более отстраненной, чуть менее восприимчивой на тот момент, может, все сложилось бы иначе. Ничего бы не произошло во время этого комедийно-физкультурного шоу – по крайней мере, ничего из того, что за ночь меняет линию судьбы на ладони. Но что вышло то вышло. Сидя в эпицентре этого электрического поля, пронизываемая насквозь сияющими лучами радости, я вдруг ощутила странное, что-то непонятное в теле – в том месте, где обычно рождается вдох. В таких случаях пугаются, говорят «показалось». Но мне не показалось.

Это было так, будто нечто очень мощное – скорее свет, чем воздух, но, возможно, и то, и другое – откуда-то взялось внутри меня и по своей воле устремилось туда, к несерьезному охламону в бирюзовой футболочке. Меня даже чуть-чуть приподняло над мостовой: сантиметра на три, не больше.

Еще это было как американские горки: когда вниз и сразу вверх.

Помню несколько секунд нарастающего изумления —
и в этот момент его случайный взгляд.

Случайный взгляд, который, как край шарфа, влекомый ветром, несся по воздуху и вдруг зацепился за что-то. Тонкий шип цветка. Маленькую занозу на гладкой поверхности дерева. Торчащий в стене крюк.

– –

А со стороны, разумеется, ничего и не произошло. Шоу продолжалось.

– Наш спектакль, – напомнил публике бирюзовый (а разноцветные братья согласно затрясли головами), – он весь об энергии. Весь целиком. А почему? Потому что если энергии нет – то получается вот так! – С этими словами он указал пальцем на свою команду; в ответ парни скорчили горестные рожи – точь-в-точь маски скорби в греческом театре – и друг за другом переломились в пояснице, уронив головы к ногам; руки безвольно повисли.

– … А вот с энергией всё совсем по-другому!

Парни подпрыгнули, точно им всадили в спины по пуле с веселящим газом; каждый исполнил в воздухе пируэт. Снова замелькали розовые биты. Я разглядела наконец, что было написано на каждой из них: «L'energie positive», тот самый растаманский слоган, прославляющий силу позитивной энергии. Слоган мне понравился: он отвечал моему мировоззрению. Бывало в жизни всякое, но в итоге в том, что касалось позитивной энергии, я уже могла назвать себя профи. Генераторами могла бы торговать. Но то сейчас; начинала, конечно, не особо многообещающе, а годам к девятнадцати, если вспомнить, уже вообще не подавала надежд: фигуранта более унылого было еще поискать. Мисс готическая тоска. Принцесса кислых щей. Точь-в-точь тот скорбный персонаж, чья единственная беда, по мнению участников военно-танцевального бойзбенда, заключалась в отсутствии энергии. Без энергии так, с энергией эдак. Очень знакомо.

Но об этом позже, торопиться мне некуда.

Разноцветные ребята громогласно поблагодарили публику, трое пробежались с красными ведрами перед сидящими зрителями: собрали свой площадный гонорар («Но даже если у вас нет денег, друзья – пожалуйста, не уходите просто так! Улыбки, поцелуи, добрые слова – мы принимаем всё!»). Ведра грохотали. Дрожащими руками я высыпала все монеты, что у меня были, в одно из них. Я ощущала себя вымотанной, словно пропустила через себя миллионы вольт, словно, сама того не желая, приняла участие в каком-то ритуале, невидимом для других. Я смотрела на зрителей – те будто вышли из бани: румяные, растаявшие, с блаженными улыбками на лицах. Многие, судя по виду, еще не вполне вернулись в реальный мир – но все-таки они, как мне показалось, оставались в рамках нормы. Обошлось, так сказать, без измененных состояний сознания. В отличие от меня.

Во время спектакля я еще пару раз ловила на себе его взгляд: взгляд человека, который за что-то зацепился или запнулся, но не успел понять, за что. Так мне казалось, но все же я решила не давать волю фантазии. *Давай-ка поближе к земле*. Бирюзовый хулиган должен держать глазами аудиторию, он артист. Все по Джону, как по учебнику. Вас тут в первых рядах сто человек, говорила я себе, и еще сзади столько же. Что касается воздушно-световых потоков, то это простая эмпатия. Или тебе в голову прилетел метеорит.

Школьно-письменный ум – прекрасная и нужная вещь, его выдают в начальных классах вместе с линейкой. Без него вообще никак. Иначе бы мы потерялись в этом мире, растворились бы в цветных потоках, и, пожалуй, тогда бы эта земля, которую кто-то для нас задумал, просто перестала существовать. Если ошиблась, поправь.

– –

Я имею право быть сентиментальной; в моей жизни была степь. Вещи, которые сделали меня тем, что я есть, легко пересчитать по пальцам; одна из них – степь, экспедиция, со всеми ее камнями и черепками, костями и бронзой, терракотой, бирюзой, лопатами и кострами, палатками, ледяной водой из водокачки и всем остальным, из чего была сложена та незабвенная полевая жизнь. Сначала – Крым, Керчь, потом – объект «Вестник» под Анапой. И городище, и некрополь Гермонассы.

Опять: случайность. В археологическую экспедицию я попала в девятом классе, это было что-то вроде школьно-образовательного летнего лагеря. Школьно-исправительного, так тогда шутили. Вроде бы, детский отдых на море, но режим как в колонии. Все было очень сурово: лагерь посреди степи, до ближайшего поселка час пешком. Подъем в пять утра (дежурные встают в четыре), умыться водой из умывальника – такой ледяной, что сводит зубы, завтрак в полевой столовке, продуваемой всеми ветрами: чай, печенье и клейкая овсянка в жестяной миске. Зябко, кутаешься в две кофты. Багровое солнце поднимается из-за холма. Небо красное, облака бегут быстро. Есть тоже надо быстро, иначе разберут хорошие лопаты; достанется кривая или тупая. Кое-кто прятал лопаты с вечера у палатки. Еще важно не забыть: что-то на плечи, что-то на голову, крем от ожогов. Воду с собой нельзя: в таком пекле, как будет днем, все тут же выходит через поры потом. Заработаешь обезвоживание. И давай быстрей.

Хватаешь тачку и бежишь, сбивая ноги, по кривой тропе на раскоп. Дорога – минут двадцать. Земля твердая как камень, по ногам хлещут жесткие мокрые стебли. Пахнет всеми травами мира, воздух жидкий, холодный: тянешь его сквозь зубы. В одном месте – ручей, скользкий брод. Колесо тачки обязательно налетит на камень и застрянет. Сзади подгоняют. Ноги всегда в синяках.

Девочки обычно стояли на отсыпке, а мальчики накапывали штыковой лопатой землю и вывозили полные тачки в отвал. Механизм простой: мальчик нарезает землю ломтями, разрубает их на мелкие кусочки, а ты забираешь часть на лопату и смотришь: каждый комок – слепок чьей-то жизни. Керамика, кости, зернышки. Могла быть бусина, гвоздь, осколок булавки. Застежка плаща. Если повезет – находили и целые предметы: терракотовые фигурки, масленки, небольшие тарелочки. Находки сдавали в музей; никому даже в голову не приходило что-то присвоить. Увозили на память только кусочки керамики, бесполезные для науки. Те, что старшие разрешили.

К обеду становилось душно настолько, что мутилось сознание. Крымская жара на раскопе наваливалась сверху, давила толщей. Мы уставали, к концу дня еле передвигали ноги. Не обходилось без солнечных ударов, ушибов, укусов мошки и сколопендр. Темп был серьезный, никто не прохлаждался. Одна из шуток:

– Бери больше, бросай дальше, отдыхай, пока летит!

Так подгоняли халтурщиков, которые (так говорилось) *спали на лопате*.

Ученые работали бок о бок с детьми. Начальник часто выходил с металлоискателем, искал монеты. В полевом плаще-разлетайке, очках во все лицо и огромных наушниках он был похож на большого слепня. Про него всегда сочиняли шутки: так рождался экспедиционный фольклор. Тому, кто находил монету сам, вечером торжественно вручали банку сгущенки. Сгущенка была валютой, а лекарством – отвар полыни. От любой хвори – литр полыни, пешком в степь и два пальца в рот. А оттуда – ползком, лежать в палатке, осознавать содеянное. Воздух внутри – как пряный кисель, вместо неба – матерчатый свод, над головой – мешок с карамельками, привязанный повыше, чтоб не достали муравьи. Едкий пот по лицу.

После обеда нас, как солдат, вповалку и в обнимку, возили на море в огромном полевом грузовике. Люди – дети, студенты, ученые – все сидели, вложенные друг в друга, как матрешки. Грузовик трясло и швыряло на поворотах. Вечером – разговоры и смешки, песни, чай

у костра. Не слишком тепличный отдых? Да, но лучше ничего в моей жизни не было. Меня никто не отправлял в экспедицию, я сама туда захотела. Из степи возвращались люди с мечтающими глазами, я помню. Мама научила меня загадывать желания на падающие звезды, и то, что я успевала загадать, сбывалось всегда. В экспедиции я ложилась спиной на лавку у костра и, сонная, по нескольку часов таращила глаза на звездное небо: желаний, благо, хватало. Небо над степью – темное, густое, мерцающее, с крупными звездами. Нигде я не видела такого неба, как там. Даже в Индии.

– –

Конечно, в той первой экспедиции я молчала: я же была невидимым ребенком. Но сейчас я думаю: именно это и было лучшим. То, что я молчала. Степь тогда очень много говорила со мной, будь по-другому – я бы отвлекалась. Первое, что она сказала мне: смотри не глазами, слушай не ушами. Там я нашла свою душу и туда всякий раз возвращалась за ней, если ее теряла. Степь была источником наполнения и ясности. Она собирала меня заново, в каком бы состоянии – светлом ли, сумрачном ли – я к ней ни приезжала. Она распутывала все клубки. Расставляла по местам все то, с чем я не могла справиться. Она была той землей, где бежит rio abajo rio, река под рекой.

В Крыму я много раз пробовала что-то вообразить, представить, как все здесь было до нас – но ничего не получалось. Все, что я пыталась себе нарисовать, выглядело безнадежно картонным. Древние греки в белоснежных туниках с золотым орнаментом по краю (все – с аккуратно подстриженными бородами), скифы на конях, черкесы с кинжалами. Выходил глупый комикс; я все думала, почему.

Я ездила в экспедицию несколько лет подряд, потом случился большой перерыв: я отвлеклась на Индию. Снова в Крыму я оказалась лет через пять, проездом, и решила повидать родные места. Помню, был уже конец полевого сезона, трава совсем сухая и желтая; пахло полынью. Табунами скакала саранча, в том году ее было особенно много. Археологи уже разъехались, в лагере оставался только начальник. Мы обнялись, выпили чаю в полевой столовой (вода, как и раньше, отдавала сероводородом), и я пошла проведать раскоп. Пришла туда, присела на остатки древней стены – и вдруг разрыдалась. С чего? Ведь все было хорошо. Я рыдала часа полтора, вцепившись руками в камни, ощущая, как по телу волнами проходят электрические разряды – так, словно что-то глухое и древнее рвалось через мои ладони из недр земли. Там я все поняла. Моя земля, или когда-то была моей. Или это одно и то же.

Я не так уж сильна в истории, а если пытаюсь вдаваться в нюансы, то быстро их забываю. Но мне кажется, что в это время – в степи, на раскопе – я смотрю не глазами. Я просто чувствую. Нет, ничего из области карманной метафизики: я не вижу мертвых, не общаюсь с духами, и голоса меня никуда не зовут – кроме тех, понятно, что предлагают чаю или просят помочь на прирезке.. Тем не менее, есть вещи, которым нет названия. И они очень сильны. Может быть, это состояние, когда все времена сходятся в одной точке. Может быть, это тонкая, еле заметная трещина на зеркальной и потому совершенно слепой поверхности главного мира. Может быть, это река под рекой.

Нет, дело не в воображении.

Дело в том, что для меня все по-прежнему живое. И ничего не нужно представлять.

– –

Я отвлеклась.

Пляс дэ Пале, собор, фонтан. Военно-танцевальный бойзбенд завершил выступление, публика начала расходиться. Я осталась сидеть на земле, ощущая, что полет с американской

горки подошел к концу; вагонетка тормозит у перрона. Шустрая девочка снова занялась плакатом: теперь его нужно было отодрать от динамика. Бирюзовый ускользнул к фонтану, снова стал руководителем, внимательным, сосредоточенным. На середину площадки выкатил свой черный бак Джон. Фух, подумала я. Наконец-то тебя отпустило.

– Пардон. – кто-то потрогал меня за плечо. – Вы не подвинетесь немножко?

Я обернулась. На меня, поблескивая вопросительной улыбкой, смотрел молодой парень в черной футболке: один из великого бойзбэнда. На голове – спортивный козырек, залихватски повернутый назад. Еще один кинематографический красавчик: светлые волосы, ясные глаза. Его звали Локо: я запомнила, потому что в спектакле его без конца окликали по имени; ему была отведена главная комическая роль (и я понимала, почему; там явно цвел талант). Многим, полагаю, он запомнился еще и тем, что невозмутимо отжался от пола раз восемьсот.

Я улыбнулась именинной улыбочкой, подвинулась и сказала:

– Садитесь, пожалуйста. И, кстати, спасибо. Вы очень здорово сейчас выступали.

– О! – казалось, он был польщен. – Спасибо-спасибо!

У него был смешной французский акцент. А мне и впрямь было приятно, что он уселся рядом; как не обрадоваться, когда рядом с тобой садится такой славный парень. Вокруг головы – спортивный козырек, залихватски повернутый назад. Еще один кинематографический красавчик: светлые волосы, ясные глаза. Послушай меня – так кругом разгуливали одни красавцы. Международная выставка-ярмарка. Но что мне делать – пришить им фальшивые носы? Они и впрямь были красивые ребята. Мне как-то везло.

Локо! – позвал кто-то слева. Киноблондин резко подался вперед, заглянул за меня, словно за угол. Я повернула голову вслед за ним и увидела, что через несколько человек от нас уселся мсье тренер, бирюзовый охламон. Что-то неотложное у него было к коллеге, никак нельзя с этим было подождать. Он что-то вещал, перекрикивая людей, и буравил взглядом своего товарища. Но почему-то мне казалось, что на линии их словесной перестрелки будто мишень торчу я.

Не очень уютно. Как будто я рыба, и меня гладят против чешуи.

Зашкворчал динамик. Какими бы ни были мои недостатки, пронеслась мысль, но я все-таки вежливая. А вежливость – это прежде всего внимание; когда ты с человеком, будь с ним целиком; мне всегда казалось, что так, по возможности, следует поступать. Я оторвала взгляд от загадочного бирюзового. Самое время побыть вежливой по отношению к Джону. Он вышел на площадку.

Помню, как-то раз мне довелось увидеть выступление двух киевских танцоров стриптиза. Те просто приехали в гости к Джону и Цап, но, войдя в дом, где собрался народ (десяток застенчивых девочек и несколько парней), внезапно решили исполнить импровизацию. Это была выдающаяся пара: один большой, холеный, с красивым надменным лицом, второй – невысокий, ростом с меня, но такой же вальяжный и нахальный. Никогда не забуду, как эти ребята исполнили стриптиз, в качестве реквизита задействовав найденные тут же в квартире утюг, весло и зонт. По их словам, они никогда не работали вместе: идея выступления родилась на лету. Утюг в танце извлекался из брюк, весло превратилось в стриптизерский шест, черный зонт вращался на манер пропеллера. Это была уморительная комедия, сыгранная с очень серьезными лицами. Там я поняла, что талантливый артист найдет источник вдохновения в чем угодно. Утюг! Черт побери, как же я ценила иронию.

Джону тоже прекрасно давалась ирония, но в своем стиле. Все его спектакли, что мне доводилось видеть, были сколочены в жанре трэш-сюрреализма и часто отдавали еле уловимым конфузом: кажется, ничего особого не происходит, но почему-то все вдруг покраснели и хихикают. Все-таки, как провокатор он был очень одарен. В этот раз все тоже начиналось довольно невинно: Джон выскочил на площадку с дурашливым веселым танцем, заставил людей махать

руками в такт музыке, что-то весело кричал публике. Стремительно стемнело; солнце зашло, и площадь вдруг утонула в мыльных сумерках. В полумраке терялись детали и краски. Сутулые фигуры зрителей превратились в большие валуны. Людей было немного: часть разбрелась во время паузы между выступлениями, а новые еще не подтянулись. Мне нравилось, как Джон держался на площадке: приветливо, легко, свой в доску парень. Энергичный, дружелюбный мальчишка в черной майке и черных шароварах: ни дать ни взять щенок лабрадора. И вроде бы, нечему здесь было удивляться (чего удивляться? пятнадцать лет на улице) – но все же я всегда с интересом наблюдала за тем, каким он был с людьми.

Сейчас Джон был всецело со зрителями. Я же была не люди, а подруга.

На площадке вспыхнул огнедышаший факел (так вот, зачем дома была нужна канистра с горючим). Стало уютней. По темным валунам заплясали розовые блики, и те опять превратились в сидящие фигуры. Комедия продолжалась: Джон выдернул из своего бака швабру и принялся вращать ее в танце. Я исполняла похожий трюк с тросточкой, когда училась восточному танцу. Кстати: куда делась тросточка? Помню, что долго путешествовала с ней – я ведь тогда старалась танцевать даже во время поездок – а потом? Может, она по-старчески отправилась на покой, затаилась в Люберцах, когда я танцевать перестала?

– Привет, моя красавица! Давай-ка ты мне поможешь.

Швабра очутилась в руках рослой, рыхлотелой девицы в леопардовой майке. Джон повелел ей драить мостовую в такт музыке; делать это – он продемонстрировал – следовало яростно и быстро. Публика развеселилась. Девица смутилась, встала столбом.

– А люди ждут. – укорил Джон.

Несчастная повиновалась и аллюром проскакала по площадке, орудуя шваброй. Но Джон быстро отобрал у нее инструмент:

– Ну что ты, любовь моя! Разве это делается так? Смотри! Когда ты на сцене, главное, чтобы всё было секси!

И показал, что значит «секси», опершись на швабру, оттопырив зад и скользнув бархатным взором по аудитории. Мой сосед из бойзбенда рассмеялся, я скосила на него глаза: все-таки, славный мальчишка. Золотой мальчишка, ржаной мальчишка. Чистый и светлый, как день, как солнце, как честное обещание и знак поддержки.

Локо так и останется для меня с тех пор знаком поддержки: именно о нем я буду чаще всего вспоминать там, где мне будет нелегко, именно его лицо будет всплывать в мареве сомнений, светлым пятном маячить среди химер. Под крышей Дуомо во Флоренции: под сенью ада, столь мастерски написанного Вазари. В сырой ночи Мачераты. В огнедышащей пасти Рима. На Понто Векьо и в Сан Лоренцо. Там, где мне будет казаться, что я уже не справляюсь, не вытяну, что нет сил, что Серо-Желтый со стены на рю де ля Карретери тысячу раз прав – где-то там всегда будет появляться лицо Локо, как точка опоры, как источник света. По крайней мере, то его лицо, которым он всегда поворачивался ко мне.

– –

Реальность, данная нам в ощущениях, иногда слоится. Во время выступления Джона я чувствовала, что, невзирая ни на какие благие намеренья, не могу совладать с собой: как я ни старалась, сосредоточиться мне не удавалось. Часть моего внимания принадлежала Джону: мне хотелось его поддержать. Часть так или иначе была отдана белозубому блондину из бойзбэнда; бог знает почему, но его присутствие действовало на меня успокаивающе. Проблема, очевидно, была в бирюзовом. Забыть о его присутствии я никак не могла. Он-то никуда не делся: сидел, хохотал. Он тоже хотел быть внимательным к Джону: в конце концов, он был его учителем. Мы вертели головами, следуя глазами то за Джоном, то за девицей со шваброй, сновавшей по площадке. Оглядываться на бирюзового мне не хотелось. Бывает, на секунду дольше, чем

нужно, зацепишься с человеком взглядами – и всё, назад ходу нет. Я вовсе не была уверена, что мне это нужно.

Джон вскочил на мусорный бак. Что-то изменилось в его манере держаться, и музыка из динамика потянулась совсем другая: густая, тягучая. В рваном свете факела, в черной футболке, черных шароварах и черной бандане, с густо подведенными глазами Джон свирепо взирал на публику с бака. Теперь он казался глашатаем Преисподней. Вскинув руки, он что-то прокричал со своей трибуны – и вдруг черные шаровары полетели к фонтану. А Джон остался в маленькой черной юбке-клеш со стразами и черных дамских колготках. Ну наконец!

Небо за собором стало совсем чернильным. Семафорил в глаз рыжий факел. Улюлюкал народ. Под мерцающую музыку извивался в танце, переливаясь миллионом блесток, Джон. Я как будто снова оказалась в моем первом Арамболе: том, какого уже не будет. Магия там давно ушла под землю, стала неосязаемой, но в те дни она была разлита в воздухе точно радиация. Особенно ощущалось ее присутствие глухими индийскими ночами. Ночная жизнь на севере Гоа кипела очагами воспаления: можно было промчать на мотоцикле десять, двадцать километров – и не встретить ни единой души; лишь ветер свистел в ушах. Пустынные, будто выметенные, улицы, тусклые фонари, безлюдные перекрестки. Католические вертепы по обочинам дорог, опутанные мерцающими гирляндами: они всегда немного пугали меня. Уж слишком потусторонний, мертвенный вид приобретали неподвижные библейские фигурки в свете иллюминации. Летишь по этому царству мертвых, а потом раз – и с разгону вылетишь туда, где видимо-невидимо народу: к ночному клубу, шумному бару. На транс-тусовку на пляже – тысячи босых ног взбивают песок, тысячи глаз без дна – или к большому баньяну, бог весть почему облюбованному гоанской публикой. Подсядешь к собравшимся, под мерные звуки барабанов провалишься незаметно в легкий транс, и постепенно перестанешь понимать, кто вокруг тебя; и будет казаться, что среди обычных лиц, искаженных сполохами огня, нет-нет да и мелькнет лик демона.

И в той первой Индии, и в моей степи я оказалась совсем случайно. Но с самыми главными землями, как и самыми главными людьми, нас связывают случайности; связывают по рукам и ногам тяжелой серебряной цепью, облепленной илом. Случайности держат крепче, чем годы, проведенные бок о бок по договору, чем обещания, данные по сверхпричинам. Бог случайностей сильней, чем бог согласия. Бабочкин полет оставляет на земле тень, под которой стонут любые весы.

– –

Такой длинный, длинный день – словно он начался сто лет назад. Авеню де ля Синагог, Люсьен, Филипп, японский бокс. Мусорный бак. Серо-желтый нарисованный человек у фонтана. Бойзбэнд, военная молитва. Все смешалось. Я не спала две ночи. Раздвинутый мир должен где-то сужаться, думала я. Я ведь могу сейчас дождаться Джона, схватить его в охапку – и просто уйти домой? Или он просто даст мне ключ – и я пойду. Почему бы и нет?

Почему бы и нет, почему бы и нет.

Иногда выбор очевиден настолько, что его, по сути, не остается. Все-таки, над моей головой сияло такое звездное небо, что только по созвездиям и стоило сверять путь. Как у уличных артистов в какой-то момент рождается умение мгновенно ощущать свою публику, так у путешественников прибывает чутье на верный поворот (справедливости ради заметим: «верно» не значит «по уму»). Путешественник – это ведь тоже диагноз. Я бы даже сказала, психическое расстройство. Мы ориентируемся по ощущению, как надо и как правильно – и в этих «правильно» и «надо» ошибаемся редко. По крайней мере, так мы считаем. Так спокойней.

В этот раз я как будто услышала: уйдешь – и потеряешь что-то.

От этой мысли мне стало не по себе. Не самое приятное дело: ощущать, как кости тают.

Ладно, подумала я. С меня как минимум «спасибо» за спектакль (*и за спецэффекты* – но так я, конечно, не скажу). А что скажу? То и скажу: спасибо.

По площади брели уставшие за день туристы. Джон закончил выступление, его облепили люди; ему было не до меня. Я так и не смогла вникнуть в суть: в чем там было послание для зрителей, пресловутая мораль? Выяснять было поздно Я отыскала глазами загадочного бирюзового. Он-то почему загадочный? Ни нимба, ни рогов. Парень как парень. Маячит возле фонтана, опять кем-то руководит. Загадочное – это что-то со мной. Такого за собой я не припоминала.

Шумели люди. Трясущейся рукой одна старушка уводила под локоток другую – к стеночке, туда, где никто не налетит. Покрикивал продавец воды. Может, Джону принести воды? Может, у меня прямо сейчас есть где-нибудь какое-нибудь неотложное дело?

Поодаль мальчишка остервенело пинал картонную коробку.

Слушай, это просто спасибо, оборвала я сама себя. Ну не будь ты такой.

И пошла.

Я шла к этому фонтану несколько столетий. А он – в какой-то момент он повернулся, а, может, поднял голову – уже не помню – и поймал мой взгляд. И это было как увидеть маяк. Когда ты видишь маяк, ты уже не можешь делать вид, что плывешь не к нему.

Я подплыла очень близко. И продекламировала, как пионерка на параде:

– Хотела сказать спасибо за ваш спектакль, – (если тебе страшно, улыбайся, да почестнее, а там оно как-нибудь само). – Высший класс. Я такого еще не видела.

Слова были честными, улыбка – не совсем. Она была очень широкой, я знаю, но вместе с тем очень светской. Честная улыбка продолжала жить – но там, в параллельном мире, во время спектакля этого чудного уличного бойзбенда, в пространстве чистого света и бескрайней радости. Она никуда не делась, моя улыбка, просто зазевалась – и дорогу ей большим черным кирпичом преградил страх. И, чтобы раз и навсегда разрубить этот гордиев узел, покончить и со страхом, и со светскими улыбками, я обняла его. А он меня.

Луна свалилась за горизонт. Люди утекли с площади разноцветными ручейками. Расползлась на лоскуты авеню де ля Синагог, и Желто-серый человек со стены на рю де ля Карретери был смыт дождем. Истлел и рассыпался в прах Авиньонский дворец. Исчезла Папская площадь. В этот момент все было очень навсегда.

Ух ты, какой родной, – подумала я сквозь вату вечности. – Ну и дела.

И в этот момент почувствовала себя очень спокойной, очень ранимой, очень беззащитной. Словно вдруг снова нашла свой дом.

– –

– Ты откуда? – Спросил он, когда вот так бесконечно обниматься стало неловко.

•

II

Откуда ты? По этому вопросу узнают друг друга люди, привыкшие много путешествовать; бывает, его слышишь раньше, чем «как тебя зовут?» (последнего, к слову, можно не дождаться вовсе). В разные годы у меня имелись разные ответы и на тот, и на другой вопрос. Одно время я старалась не признаваться, что я из России. Во-первых, не хотелось ассоциировать себя с русскими (*много алкоголя. много денег. ноль воспитания)*. Во-вторых, иногда мне нравилось пошутить, придумать все про себя, чтобы понять, как это: быть не собой, а кем-то другим. Иногда я говорила, что я гражданка мира («ай эм фром зе ворлд»), иногда называла наугад любую страну. Как-то разыграла целую комедию перед пожилой индианкой, с которой мы провели пять часов на вокзале Виктория в Бомбее.

На вокзале Виктория я ждала Рыжую. Та летела из Москвы, я же приехала из Гоа ее встречать: той было страшно одной трястись целую ночь в индийском поезде (мне – нет, но мы всегда боялись разных вещей). В активе у меня было два достижения: тринадцать швов на губе и полный ноль по части наличных. К тому моменту я жила в Гоа уже месяца полтора – это была, кажется, моя третья Индия – снимала чудесный домик в пальмовой роще, работала удаленно и не знала горя. Ну разве что отчасти: за неделю до Нового года я попала в аварию. Ничего героического: разозлилась (на кого? Попробуй вспомни), села на мотоцикл злая (недопустимо), гнала как ненормальная, вылетела на главную вне очереди. Удар, грохот – несколько секунд не помню, а помню уже как щекой сползаю по стволу дерева; во рту вязкий соленый кисель. Оказалось, мне в бок влетело такси. Еще повезло. Всего-то тринадцать швов, а сначала казалось – не останется лица. Если бы я знала, кто хранит меня – я бы перед ним извинилась.

Тридцать первого декабря я попросила Пита добросить меня до банкомата, поскольку мой мотоцикл уже стоял в ремонте. Пит – это мой друг, он с семьей жил по соседству. Пит торопился, чтобы вернуться засветло и показать сыну последний закат года (закаты в Гоа были культом), поэтому я торопилась тоже. И трижды неверно ввела в банкомате пин-код. Господин полицейский приветливо сообщил, что, согласно правилам, карта будет уничтожена; если мадам угодно – то при ней. Конечно, после Нового года: тот, кто уполномочен вскрыть банкомат, давно отправился домой готовиться к празднику. Такие тогда в Гоа были порядки.

Кто-то одолжил мне долларов десять до конца выходных. Гоа – это такое место, где у друзей вечно нет денег: они или уже спустили все на наркотики и сувениры и завтра улетают, или живут здесь, как и ты, но свободных денег, разумеется, нет. Счастья, здоровья и секса – навалом, а вот с деньгами всю дорогу проблемы.

На десять долларов я жила три дня, а второго января уехала в Бомбей встречать Рыжую. Весьма лихой поступок: первое знакомство с индийским поездом, посленовогодняя ночь в плацкарте, концентрированная кислотная хинду-вселенная. Крикливые разносчики чая, индианки в сари, увесистые, как картофелины, мужчины, которые носятся по проходам и с хохотом лупят друг друга деловыми портфелями (хотелось верить, что мне это снится, но нет: мне не снилось). Мальчик, играющий в какую-то злую электронную игру прямо над твоим ухом (пиу! ПИУ! – и так всю ночь). Два подозрительных индуса, что часами таращат на тебя глаза, пока ты в позе крышки саркофага – глаза закрыты, руки скрещены на груди – без движения лежишь на нижней полке. Происходящее казалось мне сложносочиненной галлюцинацией, злой шуткой воображения. Индийский поезд – веселый ад на колесах, вот, что я поняла в ходе ночного путешествия от станции Тивим в Гоа до вокзала Виктория в Бомбее.

С Рыжей на вокзале Виктория мы договорились встретиться *где-нибудь*: ни я, ни она там ни разу не бывали, как не бывали вообще в Бомбее. Если бы два эскимоса договорились встретиться где-нибудь на Комсомольском вокзале – вышло бы то же самое. В пять утра я сидела под огромной крышей вокзала в ожидании звонка. У меня не было денег, потому что

мою единственную карточку захватил банкомат, у меня не было обратного билета на поезд, поскольку наши билеты на поезд бронировала из Москвы Рыжая – и, стало быть, мой билет был у нее (попросить ее заблаговременно прислать мне копию я не догадалась), а ее телефон был недоступен, хотя она давно уже должна была приземлиться. В комнату отдыха меня не пустили, поскольку я не могла предъявить обратный билет; туда пускали только тех, у кого он имелся.

Я прожила на вокзале Виктории целую жизнь.

Я адски хотела спать и немного сомневалась, что действительно нахожусь в этих декорациях, в причудливейшем положении и с весьма условными шансами на победу. Это была настоящая Индия, в отличие от расписного фарфорового Гоа, и я ее такую видела впервые. Под гулкими сводами вокзала гомонили индусы, свистели приходящие поезда, лязгали буферами тяжелые вагоны с надписью Indian Railways, тощие уборщики – ачхут, неприкасаемые – поливали бетонный пол едкой вонючей смесью. На уровне колен шныряли калеки. Я в ступоре сидела на железном кресле. Напротив, расстелив на полу газету, лежал пожилой индийский джентльмен в отглаженном костюме и в очках с золотой цепочкой. Под головой у него был дорогой кожаный портфель, в руках он вертел какой-то электронный гаджет. *Юрист, наверное*, одурманенно думала я. Сотни людей точно так же отдыхали на полу. Некоторые – с головой накрывшись мешками. Другие лежали на тумбах, ступенях и ящиках.

Ко мне подсела пожилая индианка в сари – как ее звали, уже не помню – и завязала со мной разговор. В этом нелепом фильме я тоже не захотела быть собой; мне было настолько не по себе, что срочно требовалось что-то изменить, сделать все это игрой. Я назвалась другим именем – Хелен – и сказала, что я с Филиппин. Индианка оказалась бомбейским гидом, на вокзале Виктория она охотилась на клиентов уже лет двадцать и знала там каждую собаку. Стоило ей подсесть ко мне, как к ней потянулась здороваться вереница людей: машинистов, кондукторов, полицейских, простых вокзальных работяг. С каждым она знакомила меня; так я перездоровалась за руку с половиной обитателей бомбейского вокзала. Nice to meet you, Ma'am! Happy New Year, Ma'am! Я учила индианку филиппинским словам – конечно, придуманным с ног до головы. Может быть, я была убедительна, поскольку мое из рук вон нефилиппинское лицо ее не смутило – впрочем, возможно, она просто никогда не встречала выходцев с Филиппин (или, что более вероятно, каких только врунов она уже не встречала). В это время я уже всерьез подозревала, что Рыжая или опоздала на самолет, или он рухнул.

Но Рыжая появилась: с запозданием в пять или шесть часов. Им долго не давали разрешения на посадку. Наш поезд в Гоа уходил только вечером, и мы зачем-то согласились на экскурсию по Бомбею, предложенную моей новой знакомой (*Если что, меня зовут Хелен, и я с Филиппин*, – шепнула я Рыжей. *Дура?* – поинтересовалась та. У нее было плохое настроение). Рыжую тошнило, а я хотела спать, мне было жарко и мутно. Но все-таки мы увидели квартал прачечных и издалека, из окна такси, посмотрели еще кучу достопримечательностей, которые не работали в честь праздника, стояли закрытыми на ремонт или были расположены слишком неудобно для того, чтобы подобраться к ним поближе на машине. Наше желтое разбитое такси, дребезжа, продиралось сквозь толпу других автомобилей, мотоциклистов и повозок, температура была градусов под сорок, асфальт плавился, над дорогой клубился ядовитый туман. Экскурсия длилась часа два или три, и я почти ничего из нее не помню.

Наша новая знакомая содрала с нас кучу денег – мы были не в состоянии спорить – и исчезла, мы же с Рыжей еще несколько часов гуляли вокруг вокзала Виктория, а в итоге, обессилев, повалились на его задворках. Бессонная ночь давала о себе знать. Мы уснули прямо там, бросив на землю возле какой-то ржавой сельскохозяйственной машины наши порядком уже испылившиеся шали. Я постоянно просыпалась, потому что мне казалось, что за нами из кустов кто-то следит (как выяснилось впоследствии, так оно и было). Около семи вечера мы вернулись к вокзалу, поняли, что поезд уже подают, и, значит, наконец можно выпить. Рыжая

достала из багажа бутылку виски, и мы в считанные минуты отчаянно надрались. Лишь с этого момента все как-то наладилось.

– –

Я Хелен Гарден и я с Филиппин, а муж мой – паромщик; так я шутила когда-то, но

на площади перед Папским дворцом мне было не до шуток. Там я сказала бирюзовому хулигану скучную правду.

– Я русская, из Москвы. Подруга Джона.

– Да ну?!

Глаза у него загорелись так, будто билетик на автобус, который он купил, вдруг оказался счастливым. Я удивилась: чего это он? И тут же услышала:

– А у меня русские корни!

– Как это?

– Правда! Полгода назад меня нашли мои настоящие родственники.

Он шутит? Это такое французское кокетство?

– Настоящие – то есть?

Мы уселись друг перед другом на корточки. В наступившей темноте я все же видела его очень хорошо: сияющие глаза, черная бандана, наползающая на глаза, красивые руки на коленях. Большая татуировка на груди, скрытая, по большей части, бирюзовой футболочкой с чудовищем. Он казался довольно юным, хотя и старше, чем мне сначала показалось. Взгляд все же был взрослым; хоть и очень теплым. Не старшеклассник-охламон. Двадцать шесть ему? Двадцать восемь?

– Меня усыновили, когда я был маленьким. А полгода назад меня отыскал мой дядя, биологический дядя. И рассказал, что мои предки в начале прошлого века эмигрировали на Корсику из России. А точнее, знаешь, откуда… как это… Черкес? Черкеси? Как правильно сказать? – Он неуверенно пошевелил пальцами, так, будто одной рукой держал стеклянную банку, а второй что-то искал внутри. – В общем, да…

Английский давался ему с трудом.

– И вот, мой прапрадед – его фамилия была Керимов – (или *Керенов*?.. Я не разобрала) – он служил у аристократа Юсупов…

– У графа. – поправила я.

– Наверное. И очень помогал ему. И аристократ потом искал по миру людей с такими фамилиями… В общем, – он улыбнулся, – я еще только сам начал во всей этой истории разбираться.

– Ну, а об этом что скажешь? – веселился фестивальный Авиньон. – Как тебе такая история?

Если честно, я не могла об этом сказать ничего. В городе, где не успела еще увидеть ни одного русского лица, вдруг сцепиться взглядом с каким-то чудным французским охламоном, который тут же вываливает тебе на голову целый винегрет – позитивную энергию, русские корни, чудом обретенных родственников, и, вишенкой на торте, графа Юсупова. Нет, лучше не вишенкой, а фигуркой. А торт такой, типа «Праги». Коричневый.

Да за кого он меня принимает?

– Вот это история. – сказала я; сама любезность. Парень, очевидно, из талантливых филиппинцев вроде меня: сочиняет на ходу. Но уже через секунду мне стало не по себе. Я вспомнила ощущения, завладевшие мной во время спектакля и после. В этом не было ни капли выдумки: за себя-то я могла отвечать. За себя и за свое объятье, в котором исчез весь мир. Он был совсем родной мне, этот загадочный мальчик; тело не обманешь.

И это точно было настоящим.

Позже мысль о настоящем будет очень помогать мне. Всякий раз, как я буду проваливаться, терять под ногами почву – во всех бессчетных черных зазеркальях, где формы начнут плыть и искажаться, где почти все вдруг покажется пластмассовым, неживым, придуманным – я раз за разом буду находить опору в чем-то неизменно настоящем.

Единственное, что важно.

– –

Стало уже совсем темно. Черное небо толстым пузом навалилось на собор Нотр-дам-дэ-Дом. Свет фонарей забирался платанам под кружевные юбки. Площадь была усыпана бумажками. Кто же их убирает по ночам?

Чтобы не замолкать надолго, я спросила, много ли он знает русских; он рассмеялся, развел руками:

– Одного: жену Джона. Цап? Знаешь ее? Ты вторая.

Я развеселилась. Это и в самом деле становилось смешно.

– Так как тебя зовут?

– Мара. А тебя?

– Он назвался по-французски, с ударением на последний слог:

– Ортега.

Ну конечно, разве могли его звать нормально: Мишелем, например, или Жаном. Нет! Его и звали как героя из детской приключенческой книжки. Хорошее имя для дерзкого разбойника или борца за права бедных – хотя у меня оставалась надежда, что это все-таки псевдоним. Потом все, конечно, оказалось проще: оказалось, что это фамилия. Он всем назывался фамилией. А звали его Жером.

А потом он сам сказал; я ведь молчала. Он сказал:

– Ты знаешь, это было что-то странное. Когда я заметил тебя там, в первом ряду, я вдруг почувствовал что-то сильное. Волну, импульс. От тебя.

– Позитивную энергию? – уточнила я с серьезным лицом.

– Ну… Наверное, – он подумал еще. И добавил твердо. – Да.

Мне вдруг показалось, что произошел какой-то технический сбой, и два кадра из разных версий реальности наложились друг на друга. Татуированный скульптурный хулиган в велосипедных перчатках мог бы говорить о несправедливости, о братстве угнетенных, о политике – обо всем о том, словом, о чем любил рассуждать Джон; именно этого от него можно было ожидать. Но он почему-то говорил о позитивной энергии.

Ну ладно, допустим, все это стоило одно другого: и разговоры эти, и встреча, и то, что, сидя на корточках перед чудным охламоном в бирюзовой майке, я внезапно сбросила, как шубу, лет пятнадцать, и этой новой нежной коже даже горячий авиньонский воздух был прохладен.

Я ответила только:

– Я знаю. У меня было то же самое. В общем, такое бывает во время… эээ… медитации, верно? Энергетические волны и все такое. – (Попытка засчитана, неважно, что такая жалкая. Какая попытка? Найти всему этому объяснение, конечно)

– Ты чем-то занимаешься, может? – он заинтересовался.

Надо было сказать: астрономией. Изучаю звездное небо и нравственный закон внутри нас. Я ответила:

– Ничем таким. Иногда йогой. Иногда медитирую.

– –

Что я должна была рассказать тебе, я все думаю. Что есть вещи, которые рассыпаются от одного прикосновения, как кораллы, стоит их назвать – но зато их можно увидеть где-то на границе между сном и не-сном? Я так много проехала, пока искала свою душу, я видела так много всего – но везде понимала одно: занимайся чем угодно, хоть йогой, хоть баскетболом, делай, что хочешь, только слушай себя получше и не давай никому сбить себя с толку. Но это мы с тобой оба знаем и так.

Степь, Индия и авантюры – вот, чем я долго *занималась*. А йога и прочее в таком духе – что ж, и этого было предостаточно; но считаю это, скорее, последствием. Одно время я занималась всем подряд, но всё и всегда возвращало меня к одному: главное – вера и то, что мы, путешественники, зовем панорамным зрением. Почти нулевой фокус. Рассеянный взгляд сквозь полуприкрытые веки. Секунды достаточно, чтобы объект внимания, чем бы он ни был – явлением, предметом, идеей – раскрылся под этим взглядом, точно бутон. Просто не отвлекаться. Просто стать точкой. Это совсем не сложно. И нет, это вовсе не избавляет ни от боли, ни от страха – но иногда дает чувство свободного полета в пустом космическом пространстве: можно всё и знаешь, что будет. Вера – источник энергии. Как говорил один мой знакомый, бывший гангстер, а ныне ученик брамина (кого только не встретишь в Индии), дхамма – такая штука. Даже людей можно убивать, но убивай их честно: с верой, от сердца, с радостью. Да, с этим можно спорить – впрочем, можно и не. Лично я не хотела убивать людей. Мне вообще долго не было до них дела.

Одним словом: чем я занимаюсь? Загадываю желания на звезды. Если надо, танцую. И довольно: все всегда происходит так, как мне нужно. У каждого свои инструменты. Кому-то нравится представлять цветную радугу вдоль позвоночника и силой мысли направлять по ней поток энергии; нравится – и бога ради. А кому-то удобней простая лопата: он ей набирает землю и швыряет в тачку, и отдыхает, пока та летит. Я пробовала и то, и другое. Могу сравнивать.

– –

Поэтому я и ответила: ничем. Вопрос был из серии «а как ты дышишь?».

Но ему, как я потом поняла, всегда было важно докопаться до сути. Ответ, судя по лицу, его совершенно не устроил.

– Слушай, это все очень интересно, – он порылся в рюкзаке и извлек томик в белой глянцевитой обложке. – Я сейчас читаю одну книгу об энергии, кстати, автор – русский… Знаешь такого?

Томик был похож на молитвенник или на пособие для поступающих в ВУЗ. Имя автора мне ни о чем не говорило. Мне стало любопытно: вдруг мне тоже нужна эта книга? Вдруг в ней есть что-то важное для меня?

– Первый раз вижу. Напиши мне куда-нибудь фамилию, а то забуду. У тебя фейсбук есть?

– Ой нет, – он вскинул ладони в жесте шутливого протеста, будто опровергая нелепое подозрение. – Конечно, нет. Я не выношу это все, интернет – это безумие. Но почта есть, я ее читаю. Иногда.

Он загипнотизировал меня, я просто не могла оторвать от него глаз. Он был такой… удивительный. Очень открытый. Как ребенок, которого никто никогда не обижал.

Мы долго рылись в сумках, словно подростки, познакомившиеся на школьной дискотеке: искали ручку и бумагу. Наконец он выудил из рюкзака черный маркер и круглый картонный флаер в форме компакт-диска. «Les Echos-Liés. UNCLASSIFIED» – прочла я на нем. Я уже видела эти буквы на плакате, с которым сражалась шустрая девочка из бойзбэнда. Les Echos-Liés – это как? Связанные эхи?

– Слушай, – вдруг сказал он. – Мы завтра выступаем в театре. «Капитоль», знаешь такой? Там будет не то, что сегодня, а нормальный большой спектакль. Придешь?

Какая-то спица сломалась в этот миг у колеса судьбы, и оно соскочило с оси, опрокидывая должный порядок вещей. В чем был идеален Джон: с ним всегда было легко и понятно. Он не создавал неопределенностей и вопросов, по крайней мере, мне. Вот и в этот раз он все продумал: завтра вечером, согласно плану, я должна была ехать в Экс-ан-Прованс к каким-то его друзьям (к каким? Господи, я даже не помнила имен). Он обо всем договорился, ради меня изменили планы, меня ждут. Я испугалась. Как же мне сейчас уехать? А как остаться? Так и объяснить им: встретила на площади какого-то мальчишку, а почему он за минуту вдруг стал таким родным и откуда свалился – в этом и есть загадка, которую нужно разгадать?..

Но легкая паника, не успев разгореться, тут же сменилась ясностью. Во мне и в наступившей тишине внутри меня вдруг как колокольчик, тонко и чисто, звякнуло маленькое бытовое предвиденье: не о чем беспокоиться, я никуда завтра не уеду. Мне даже не придется никому ничего объяснять. Просто так само случится, и всё.

Тем не менее, из суеверной осторожности я ответила:

– Завтра меня ждут друзья Джона. Но, может, я успею сначала к вам, а потом в Экс… Не знаю. Постараюсь.

– Не нужно стараться, – изрек он назидательно. – Ты просто возьми и приди.

Тогда я еще не догадывалась, с кем имею дело, а потому этот учительский тон меня обескуражил. От растерянности я рассмеялась; уж не ведет ли он тренинги личностного роста? Такими лозунгами обычно кормят там. Поразмыслив, я решила закрыть глаза на его самодовольство; все же мне не удавалось избавиться от чувства, что в нашей встрече есть что-то неслучайное. Как могла я от этого отказаться?

«Окей», – покладисто сказала я. Всё было уже как-то решено. Мне показалось тогда, что и он, возможно, что-то должен узнать у меня, что и я ему зачем-то нужна. В конце концов, все мы друг для друга проводники. Куда, и через какие колючие кусты придется вместе продираться – вопрос другой.

На темной площади, окаймленной огоньками кафе, уже почти никого не осталось: несколько парочек да кучка туристов, стреноженных болтовней. Джон паковал в бак свое добро, мы подошли к нему. Друзья перешли на быстрый французский. Я снова почувствовала себя надувной игрушкой и, стремясь отделаться от противного ощущения, обернулась – в нескольких шагах стоял, задумавшись о чем-то, белозубый блондин из бойзбенда, генератор позитивной энергии. Я обрадовалась, подошла представиться официально.

– Я Мара. Приехала к Джону в гости.

– Класс, а я Локо, – проснулся тот и просиял. Запас позитива, казалось, в нем был неиссякаем. – Ты откуда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.